ЕВРАЗИЯ

Фрагмент романа

Ты не забудешь

...я бросила сына.

Я ушла из дома.

От лысого нищего мужа.

Муж ушел на завод, я вышла на балкон и сверху вниз смотрела на землю, на людей.

Потом попятилась; я испугалась, что спрыгну вниз.

Стала собираться. Шарила по шкафам, по полкам, по тумбочкам.

Судорожно уталкивала вещички в большой целлофановый пакет.

Оставила у младенца, сладко спящего, записку на груди: «НЕ ИЩИ МЕНЯ НИКОГДА. ПРОСТИ».

Я это мужу или сыну писала? Обоим.

Во сне мой сын засунул себе в рот палец и сосал его.

Я снова окидывала взглядом, стоя на пороге и кусая до крови губу, свое постылое, коляски, пеленки, суп на плите, сырники разогрей, носки на батарее сохнут, молоко в бутылочке, соски прокипяти, телевизор с получки купим, не плачь, давай в картишки сразимся, свое унылое прошлое: обратного хода в него не было, и я это хорошо знала.

Ход был только вперед.

Только бежать!

А может, остаться?

Я понимала: меня могла спасти только я сама. Я.

А от чего мне было меня спасать? Разве я не прекрасно жила на свободе?

Я бежала по улицам города, где я родилась, и не испытывала ни малейшего желания прибежать в дом, где я жила когда-то, где меня   
насиловали и хотели сделать из меня послушное домашнее животное. Правда, горькая мысль посещала: а как там мать? Мать, моя пьяная мать? Вечно молодая и вечно пьяная. Вся в морщинах, и не просыхает, и не просохнет. Мысль, горькая сизая полынь, я ее нежные веточки перемалывала зубами, и зубы скрипели. Мне было опять больно.

Но эту боль я быстро прогнала. Как делать нечего.

На барахолке, перед автостанцией, я купила с рук у пьяного подростка старый рюкзачишко. За копейки. Наверное, парень украл его у деда из кладовки, а ему позарез надо было выпить.

Старый рюкзак, ты вернулся ко мне. К кому вернусь я?

Я решила: удеру-ка я из города в деревню. Такие деревни под Нижним! Одни леса вокруг, мрачные, мощные, еловые и сосновые, тут раньше прятались и гуляли разбойники, резали крестьян и купцов, крали их деньги, наторгованные на рынке, уводили их лошадей. Как давно это было! Желтая скучная страница учебника истории для пятого класса. Скоро люди этого всего не будут помнить, потом не будут знать, потом при слове «крестьянин» будут делать круглые глаза: а это что такое? Ой, простите, кто такой?

Я прибыла в село большое, оно называлось Сосенки, и на окраине села высилась лесопилка. Я явилась туда. На работу возьмите! Мне мужики смеялись в лицо. А ты разве мужик, чтобы тебя на лесопилку брать? Ты ж ни пилить, ни рубить не умеешь! Ты топор когда-нибудь в руках держала?

Я зажмурилась и вдруг увидала: топор, я размахиваюсь и всаживаю лезвие в башку моего почти позабытого отчима. Потом выдергиваю топор из черепа, размахиваюсь снова и опускаю – с хряком, как мужик –   
на его плечо. Потом на его грудь. Потом на его морду. Текут ручьи крови. Я стою и гляжу на дело рук своих.

...эй, эй, очнись, девочка!

...а чего это она свалилась?

...может, беременная?

...какое беременная, что, не видишь, она же совсем ребенок...

Я разлепила глаза и дернула головой. Мне в нос совали нашатырную ватку. Я дергала головой и выпучивала глаза, потом слабо вякнула: хватит, задыхаюсь! Ватку убрали.

Ты, молодец, что очнулась! А то мы уж думали, тебя в районную больничку повезем. У нас в селе и скорая имеется! Такая, знаешь, серая «буханка»! С красным крестом, все честь по чести!

...а кем мы ее возьмем?

...а где мы ее поселим?

...а может, она из тюрьмы драпанула?

...нет, она паспорт показала, все нормально у ней...

...а тогда что это у ней шрамы? Видишь, здесь и здесь?

Я ни в какой тюрьме не была, сказала я тихо, но веско, и быть там не собираюсь. Берете на работу? Только, и тут я обвела всех их, мужиков, столпившихся вокруг меня, а я лежала на полу, только не насилуйте. Ясно? А то я нож с собой ношу.

В кармане куртки у меня и правда лежала маленькая, в чехле, изящная финка. Я стащила ее у мужа из тумбочки.

Вот видишь, скобу с собой носит! А ты говоришь – в санатории не была!

Это ты в санатории был, тебе все повадки больных знать. Нет, тюрягой от нее не пахнет. Уху свежую будешь? Из свежих судачков? А тебя как зовут? Только не сочиняй. Правду говори!

И я сказала плотникам правду.

Доски, доски, желтые, пахучие, свежие доски. Как свежая рыба, длинные.

Желтые, золотые, белые, хочется лизнуть, и наверное, они сладкие, да заноза в язык вопьется.

Меня поселили в избу к хромой старухе Татьяне Аверьяновне, а на лесопилку я приходила каждое утро и делала все, что прикажут. За тарелку ухи, за денежку малую, просто – за улыбку, за кусок хлеба. Иной раз, к праздникам, к Новому году или к Пасхе, денежку и побольше раздавали.

Старуха, хромоножка Татьяна Аверьяновна, пугала меня буйством густых, кудрявейших серебряных волос. Не шевелюра, седой костер! Белое пламя горит над сморщенным, как мятый сапог, лицом. Зачерпывает ковшом ледяную воду из ведра, тяжело прихрамывая, идет к самовару. Выливает из ковша в самовар воду. На руке, чуть выше запястья, черный номер. Семь цифр, я запомнила. Классное тату, кивнула я на ее тяжелую старую руку, рука эта, трясясь, отвинчивала краник самовара, и в чашку лилась перевитая струя крутого кипятка. Зачем набила? Давно? Что, что? Что ты бормочешь? Что это еще за туту? Это мой лагерный номер. В Освенциме нас так всех клеймили. И взрослых, и детей. Мне было пять лет. Я узница Освенцима, деточка. Слушай, я тебе денежек дам, поди в сельмаг, купи мне шоколадку белую, а?

А что такое Освенцим, баба Таня?

Что такое Освенцим, я узнала от нее.

Что такое, когда новорожденных детей топят в бочке с тухлой водой, я узнала от нее.

И что такое, когда брюхатой бабе разрезают без анестезии живот, чтобы вытащить на свет ребенка и рассмотреть его тщательно, со всех сторон, славянского раба, урода, недочеловека, а потом взрезать, как лягушку, я тоже от нее узнала.

От хромой старухи с белым огнем надо лбом.

Я много чего от нее узнала. Такого, что мне моя жизнь, перейденная тощими ножонками едва ли на треть, показалась сущим раем. Рая! Ты девочка из рая. И ты вернешься однажды в рай, это точно! Только дорожку не перепутай!

Ночью я проснулась от удушья. Дым лез в ноздри, забивал легкие серой горелой ватой.

Горим, заорала я и сбросила ноги с постели, горим, баба Таня!

Кровать Аверьяновны была пуста. Старуха тяжелой глыбой стояла у окна и, вместо того, чтобы открыть форточку, плотно закрывала ее.

Деточка, это не мы горим. Это торф горит. Леса горят. Лесной пожар. И он идет на село. Будем молиться, чтобы нашу избу не тронул огонь! Будем?

Я на всякий случай кивнула: будем.

Старуха раскрыла толстую церковную книжку и загундосила псалом.

Я вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь.

И прилипла к ней вмиг покрывшейся мокрым ужасом спиной.

Стена огня шла на деревню со стороны соснового леса, и длинные стволы гигантских корабельных сосен подламывались и падали,   
сгорая, и в воздухе стоял и надвигался все ближе, ближе горячий гул и треск. Вой стоял!

Я впервые услышала: огонь может выть.

Как зверь. Как человек.

Как безликая, красная масса зверей и людей, что катятся валом, хотят пожрать, хищно обнять, задушить, убить. Испепелить.

«Баба Таня!» – крикнула я, а из горла вылетел писк. Я влетела в избу, старуха все так же стояла у окна и слушала ужасающий далекий гул.

Гул подбирался все ближе.

Баба Таня, завопила я, бежим, бежим! Ведь сгорим!

Старуха обернула ко мне пустое, великое светлое лицо.

Ее глаза смотрели внутрь, не на меня, не на стены и утварь, а себе под череп. В прошлое. В будущее. В смерть.

Я впервые увидела, как человек глядит в лицо своей смерти.

Нет, деточка, никуда я не побегу. Поздно мне бежать. Огонь пришел, значит, так надо. В моем Освенциме людей в печах сжигали. А я, малышка, вместе с мамой молилась, чтобы нас не удушили и не сожгли. Маму удушили. Потом сожгли. А меня освободили наши солдаты. Печи перестали гореть. Огонь умолк. А теперь вон опять пришел. Он пришел, он меня нашел. Раечка, не тяни меня за собой!

Я уже видела огонь в окне. Он уже приблизился к пряслу, лизал крышу сарая.

Баня бабы Тани уже полыхала громадным желтым факелом.

В избе стало жарко.

Ну не могла же я вот так просто оставить, бросить ее, старую дуру!

Аверьяновна, я больно дернула ее за руку, потом схватила за другую руку и потащила, ну сдвинься ты с места, ну давай, давай, шевели ногами, хромай ты как хочешь, идем, идем! Спасемся!

Огонь плясал уже перед окнами.

Беги, деточка, шепнула старуха, не глядя на меня, лесопилка сгорела, вся жизнь сгорела. Ты спасешься. Беги!

С пожарки бил и бил, колотил в ночь безумный колокол.

С улицы доносились истошные крики.

Я всунула ноги в старые джинсы, накинула на плечи вечную куртку, чертову кожу. Взбросила на плечо рюкзак. Там всегда наготове у меня, бродяги, лежала пара трусов, полотенце, мыло, зубная паста и теплый свитер, для зимы.

Выбежала на крыльцо. По улице, вопя, бежали люди. Они текли черной рекой к пожарке. Набат захлебывался звоном. Ближайший пруд, с мелкими, как монеты, карасями исчез за стеной огня – огонь нагло обошел его, обтек, насмеялся над черной бесполезной водой.

«Горим! горим!» – орали в ночи люди. А толку что орать, все и так понятно.

И что спасенья нет, и что село сгорит дотла, тоже всем быстро понятно стало.

И люди спасали свои жизни, а не свои избы.

Дико, страшно мычали быки и коровы. Блеяли овцы и козы. Они горели вместе с деревянными срубами, заживо горели, и только в крике могла выйти наружу их зверья душа.

Желтые, красные сполохи метались близко, рядом. Жар жег щеки и лоб. Я сбежала с крыльца и побежала от пламени вместе с толпой. Мат, вопли, слезы. Баба кричала: «Дашенька! Дашенька, а ты ведь у меня, внученька, там осталась! В избе! В избе!»

Ей кричали: «Зина, потом помолишься за упокой младенчика, а сама-то беги! Беги! Потом свечку поставишь! Если сама жива останешься!»

Мы все, обезумевшим стадом, бежали от огня, и вместе с нами, за нами и вокруг нас бежали коровы и овцы, что смогли вырваться на волю из хлевов и гуртов.

Я оглянулась на лесопилку.

Доски горели ярче всего. Веселее и безумнее всего.

Бегите к трассе, завопил мужик с нашей лесопилки, к трассе! Кричите, голосуйте! Останавливайте все, что сможете остановить! Кто доберется до соседней деревни – звоните оттуда в город, если провода не сгорели! Звоните ноль один, ноль два, ноль все что угодно! Сообщите, что Сосенки горят!

Бегущий рядом со мной старик, запыхавшись, остановился, посмотрел назад и выплюнул из беззубого рта: уже сгорели.

Мы все тоже поглядели назад. Село полыхало, пламя билось на большом, крепком ветру, захватывало в объятья и сухую траву, и сады, и овраги, и там, где только что спали, сопя, в избах, под иконами и телевизорами, под охотничьими ружьями и желтыми фотографиями в рамочках, безвинные сельчане, умотались за день и сладко спали, гудело безумное пламя, гудело и ныло, и стонало, а может, оно пело, но только слов никто из нас не смог бы уже никогда разобрать.

Огонь гудел и метался на ветру слишком близко.

Я повернулась и побежала. Вместе со всеми. Пламя лизало нам пятки и плечи. Воздух пропитался жарой, как хлеб маслом. У меня за пазухой еще билась моя жизнь, а баба Таня, хромая Аверьяновна, малышка из Освенцима, заживо горела там, за моим затылком, в своем доме. Печь Освенцима все-таки настигла ее.

На попутке я вернулась в город.

Садилась в попутку не одна: со мной в машину влезли две плачущих сосенковских бабы – одна молодая, другая толстая и старая. Обе они голосили непрерывно. Я прикрикнула на них: замолчите! Они подавились слезами. Шофер покосился на нас. Куда вам, красавицы? Сосенки-то все сожглися ай нет? Шуруй на Нижний, как и шуровал, мрачно бросила я, по Казанке, не ошибешься! Да, все сгорело! Подчистую! А тебе-то что?

Бабы плакали в голос.

Как я не хотела появляться в родном городе! Я не хотела в нем засвечиваться. Да вот пришлось. Я подумала: может, мне мои патлы отстричь? И брови перекрасить в русый, в золотой цвет? И веснушки акварелью нарисовать?

Да, вопрос не праздный: у кого я буду жить?

В рабочее общежитие мне идти не хотелось. Работу искать мне тоже не хотелось. Я уже поела сладкой свободы. А еще во мне звучал голос; мой собственный, он звучал и звучал. Я мычала, заталкивала его внутрь, он прорывался все равно. Уроки церемонной Аглаи, моей неудавшейся мамашки, не прошли даром. Голос мой разбередили, разворошили кочергой. Он горел, огонь шел стеной, горящий лес дышал в меня, только не снаружи, а внутри. Под ребрами.

Звонить знакомым, чтобы приютили? Не было у меня знакомых. И все нижегородские телефоны я растеряла. Жизнь выпотрошила все мои записные книжки. Друзей у меня никогда не было; но я все чаще вспоминала моих уральских рок-музыкантов и Рыжего Сэйка. Вот с ними бы я дружила. Черт, я бы с ними пела! А так кто я такая?

Петь, петь! Но и пить. Пить, гулять! А есть?

В поисках еды я бродила по пыльному, мусорному городу. Я пришла на Московский вокзал, там с потолка свешивалась необъятная, как остров в океане, люстра, она была сплошь золотая и вся тихо звенела медными висюльками, золочеными сосульками. Пассажиры сидели под люстрой, у них была своя жизнь: кто жрал пирожок с котятами, кто дрых, подложив под голову пожитки, кто читал газету, а может, не читал, а слепо, сонно таращился в нее, держа ее кверху ногами; кто играл с ребенком, тетешкал его и подбрасывал в воздух, а кто бил свое родное дитя по щекам и вопил: ах, собака, опять у меня из кошелька деньги пропали! Ребенок, зачем ты уже вор? Ребенок, прости своей матери, она ведь не со зла, а любя!

Я вспоминала, как моя пьяная мать бродила по ночной квартире с ножом. Как она, выпив бутылку, пустой бутылкой била меня по голове. И как моя теплая кровь со лба стекала по ушам и щекам мне на шею, за воротник. Заложить за воротник, ведь это же значит выпить! А кровь, что стекает тебе за воротник? Ее что, тоже пить можно? И кто ее пьет, какой вампир?

Я была такая голодная, что я с радостью хватанула бы ножом себе по руке, припала к порезу и пила свою кровь. Ужасно, да? А что вы хотите от голодной девчонки?

Девчонки...

Иногда мне казалось: мне уже три тысячи лет.

Я подошла к круглому, на длинной ножке, столу в вокзальном кафетерии. У стола стояли две девчонки моих лет, может, чуть постарше меня. Они пили кофе из бумажных стаканчиков. Я подошла ближе, осторожно понюхала воздух. Я ошиблась. Они пили не кофе. Вокруг них гулял аромат дешевого красного вина. Они отпивали вино из картонных стаканов, потом изящно откусывали от булочек. Черт, это были не булочки! А сосиски в тесте. Я слишком шумно, как собака, подобрала слюни. Одна девчонка, что погуще была накрашена, вскинула голову.

Наши глаза скрестились. Ударились друг о друга, как блестящие клинки: раз! два! выпад!

Кто ты такая? И что тут бродишь?

Я ближе шагнула к столу и раздула ноздри.

Мои руки сами хватали стол, пальцы сами шарили по столу.

Последнее чувство стыда, жгучее чувство, еле удерживало меня от просьбы, от милостыни.

Дилька, да она же просто жрать хочет! Не видишь, что ли?!

Вторая девчонка, белые волосы вдоль щек вьюгой колыхались, схватила свою надкусанную сосиску в тесте и протянула мне.

На, жуй!

И я не заставляла себя долго упрашивать. Я стояла прямо перед их столиком, жадно поедала чумовую сосиску в умопомрачительном тесте, жадно глотала – а они глядели на меня во все глаза и хохотали. Тю, девка, ты, я гляжу, без комплексов! Ну мы с подругой тоже без комплексов! Правда, Наташка? Правда, Дилька! Если комплексы и были, так давно сплыли!

Я доела сосиску. Утерла ладонью рот. Посмотрела себе под ноги.

Я ее просто не заметила.

Ой, тут собачка... приблудная... тоже есть хочет, девчонки...

А спасибо где твое? Слопала и ни хрена ни сказала! Собака – наша! Она накормлена! Мы ее – дома накормили! Золька, служи!

Густо накрашенная брюнетка щелкнула пальцами. Собачка Золька встала на задние лапы.

Служи, служи, служи! Набок не вались!

Рыжая, носатая, лохматая, добрая собака. Какой ты породы?

А что это за имя такое, Золька?

Изольда. Порода кокер-спаниель. Благородная, не дворняга какая!

Мы сами благородные! Не дворняги какие!

А ты? Ну что это за метла! Помело ты!

Нет, рожа у нее сообразительная.

Сообразит сейчас что-нибудь! За сумочкой гляди, отомкнет замочек в два счета!

Белая Наташка поправила на плече сумку. Сумка моталась на толстой посеребренной цепочке.

Возьмите меня с собой, девки, тихо попросила я. Тихо, но внятно.

Все-таки попросила.

Но ведь не жрать же попросила!

Не ври себе.

Ты попросила о том, что во много раз драгоценнее всякой самой изысканной жратвы.

Я – жизни попросила. А жизнь не вымаливают. Даже если смерть рядом с тобой ходит, не надо о жизни просить.

Но девчонки были такие свои. И я, я чувствовала это, я была им тоже своя.

Вроде как мы разлучились и вот опять встретились.

Черная Дилька подмигнула мне. А что, и возьмем! Что бы тебя не взять, если сама себя предлагаешь! Правда, не особо ты аппетитная, но плевать, откормим! Ведь вот Зольку откормили, да? Собака подбежала, виляла хвостом, Дилька погладила ее по шелковой рыжей голове. И тебя откормим! И даже покажем, где деньги на еду лежат! Покажем, Наташка?

Не вопрос!

С загнутых ресниц черной Дильки осыпалась на щеки сухая черная тушь.

Мы пришли к девчонкам домой.

Их дом назначили на слом; там взорвался газ, жильцов выселили, квартиры все разграбили, и они поселились в пустом, побитом жизнью доме, сторожившем свою близкую смерть, на чердаке.

Чердак пах мышами, старой бумагой и табаком. Черная Дилька беспощадно курила. Курила и Наташка, только гораздо скромнее. Дилька свободно искуривала две пачки сигарет в день, а то и три.

Утварь самая простецкая, а косметика около старого трюмо –   
закачаешься.

Франция, Англия... Исландия... Кремы Мертвого моря... Канадская помада Clinique... Духи сумасшедшие. Ив Роше, Шок де Шанель, Герлэн...

Девки, только не врите! А что, откровенности желаешь? Передком промышляете? Ну а ты бы как хотела? А если я не хочу? Зачем же тогда с нами потащилась? Еще и сама попросилась! Ты что, голыш, пупсик, детский сад старшая группа?! Ну и вали обратно в детский сад! Чтобы мы потом не виноваты оказались!

Слушай, Дилька, не кипятись. А что она вообще умеет?

Ну кувыркаться в кровати умеет, это понятно!

Белая Наташка коснулась моего плеча ладонью. От нее пахло корицей, лилией, мятой, чуть-чуть медом и лимоном. Обалденные пряные духи. Восток, Египет, Париж, Марсель.

Нет, правда, Раиска, а что ты умеешь?

Я петь умею, сказала я гордо, как петух, выпятила костлявую грудь.

Девчонки обе, как по команде, рухнули спинами на кровать и заболтали в воздухе ногами. Собака весело залаяла и нарезала по чердаку круги. Она думала: отличная игра! А когда бросят палочку, чтобы ее схватить в пасть и принести хозяину?

Петь?!

Петь?!

А я думала, пить!

А может, и пить умеешь?!

Она умеет петь.

Она умеет петь.

Белая Наташка и черная Дилька посылали меня петь в подземных переходах. Время Рыжего Сэйка и молчаливого Сидни вернулось. Я приходила с собакой к вокзалу, спускалась в подземный переход, длинный, как жизнь. Как длинная воспаленная кишка. Кишка переваривала людей, ее тошнило и рвало людьми, а люди все бежали и бежали, появлялись из ничего и исчезали в никуда. Я вставала у пустого ящика из-под иностранных кремов. Или из-под пепси-колы. Или из-под пива. Мне было все равно, рядом с какой пустотой я стою.

И я заводила песню.

Выходила, песню заводила про степного, сизого орла...

Рыжая собака кокер-спаниель сидела смирно. Иногда, на особо жалобных минорных нотах, она, подняв морду, выла. Подвывала тихо, осторожно, словно знала: ее за это не похвалят, а может, и поводком стегнут.

Я пела под землей отнюдь не русские народные песни. И не «Катюшу».

Хотя, если бы я это все пела, мне бы больше подавали. Гораздо больше.

Я пела весь рок-репертуар, что молотили в Уфе Рыжий Сэйк и Сидни. Виктор Цой, Фреди Меркьюри, «Шоу маст гоу он», Боб Гребенщиков. «Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам! Напьешься в хлам –   
и станешь противна соратникам и друзьям...» Я пела песни Бутусова. «Наутилус Помпилиус» forever. «Правда всегда одна! Это сказал фараон. Он был очень умен, и поэтому его называли... Ту-тан-ха-мон!»

А потом: прощай, Америка, о!

А потом сразу: человек на Луне...

А потом опять Цоя, и тут сердце у меня сначала замирало, потом ухало в пропасть: «В городе мне жить или на выселках...»

А потом, без перерыва: «Я! Хочу быть с тобой! Я так хочу быть с тобой! И я буду! С тобой...»

Иногда, чтобы подбавить в подземный концерт романтики, я пела, с тоскливым подвывом, как печальная собака, «Yesterday».

Битлы, бедные жуки, когда-то вы тоже были бедные! Так что не глядите на мои обноски. Может, я буду богатой!

Нет, все это был смех, и только, и он навек поселился внутри меня. Богатой я быть не хотела. Никогда. Я богатство презирала, я плевала на него. Может, это срабатывал инстинкт самосохранения, не знаю. Но, когда я видела большие деньги – а мне уже довелось на них поглядеть в жизни, – я очень хотела на них плюнуть. Смачно, набрав слюны полный рот, – так плюют подлецу в лицо.

Девушка, девушка, а вы что, рокерша? Девушка, а «Сурка» Бетховена знаете, спойте! Я специально рядом постою! Девушка, а вы всего Меркьюри поете или только «Шоу маст гоу он»?

Девушка! А вы всегда тут стоите?

Ты, пошла вон, швабра!

Если бы я жила в Париже и у меня была бы шарманка, я бы ее вертела. Со мной не было Сидни и Сэйка, и некому было мне аккомпанировать. Поэтому я пела а капелла.

Одна.

Нет, не одна: собака же мне подвывала!

Это было прекрасно. Такого рыжего лохматого музыканта не было ни у кого из великих певцов.

Постепенно в этом длинном вокзальном подземелье у меня рождалась своя публика. Приходили «на меня» – меня послушать. Стояли и слушали. Это было дивно мне. Я выпрямляла спину и старалась чисто брать высокие ноты.

Я умела виртуозно хрипеть, чисто, ручейком, петь, надрывая глотку, орать, тихо и нежно гладить голосом душу. Я уже много чего умела.

И тут меня порезали.

Ну так, как обычно режут, ножами, чем же еще.

Нехорошо порезали; туда резанули, куда не надо: по шее.

Этого следовало ожидать.

Подземная публика не из одних восторженных пацанов состоит, куртки в заклепках, черные перчатки без пальцев на руках в красных цыпках.

В подземной публике попадаются маньяки.

Маньяк бывает одиночка, а иногда приходит не один.

За ним друзья, и у всех ножи, и все ненавидят.

Тебя.

Я смутно помню это лицо. Оно полетело в меня из полумрака.

Вечер, и фонари в переходе светили тусклее, все тусклее.

А может, это у меня глаза слипались.

Я хотела спать. Собака зевала.

Скоро двенадцать ночи. Транспорт не ходит. Хорошо, до нас от вокзала можно запросто дойти пешком.

Золька, ну что, рыжая, пойдем домой, что ли, чердак нас заждался!

Я наклонилась и выгребла выручку из-под ног. Из футляра.

Под ногами у меня валялся разинутый красной бархатной пастью скрипичный футляр. Мне его нашла на помойке белая Наташка. Специально для сбора подземных доходов. Только милиции не отстегивай. Мент захочет отстегнуть – скажи, что ты в первый раз в первый класс! А если он захочет не отстегнуть, а расстегнуть? Что расстегнуть? Джинсы мои, что! Ха-ха, ну и расстегнет, не мыло, не измылишься!

Девчонки промышляли на вокзале. Я зарабатывала в переходе. Мы хорошо распределили обязанности.

Я рассовала деньги по карманам, бумажки в один, мелочь в другой.

Застегнула на стальные застежки черный футляр.

Футляр опять был пустой: ни денег, ни скрипки.

И тут выкатилось из подземного тумана это лицо.

Я не помню его.

Я только помню, как быстро оно летело на меня.

И я подумала: сейчас столкнемся лбами, и оно разобьется!

Живое лицо подлетело совсем близко и внезапно превратилось в острую боль.

Я ничего не поняла.

Я даже кричать не могла.

Резкая, сильная боль, и мокрая грудь, и мокрая горячая спина.

Мне потом сказали: ты обливалась кровью.

Видать, он, мерзавец, задел крупный сосуд, разрезал, и кровища хлынула.

Маньяк, это маньяк, догадалась я, да поздновато.

Меня резали уже напропалую.

Я хваталась за лезвие. Хваталась голой ладонью.

И ладонь мою, и запястья, и плечи, и грудь, и шею лезвие кромсало и кромсало, человек взмахивал ножом и ударял, взмахивал и ударял.

Изрезанные мои руки сочились кровью.

Я не помню, как я падала.

Я услышала страшный, долгий вой.

Это сидела и выла собака Изольда.

Я изловчилась и, уже лежа на асфальте, изо всех сил пнула того, кто меня убивал, ногой в пах.

Нога моя, в тяжелом ботинке.

Как хорошо, отлично, что я не носила поганых изящных туфелек.

Гриндерс, кожаный утюг, носом въехал маньяку промеж ног.

Мой убийца заорал. Он не упал, только быстро согнулся, сломался в спине.

Стоял и держался одной рукой за живот.

В другой его руке горел стальным пламенем нож.

Хороший нож, крепкий, длинный, с загнутым кверху кончиком.

Мне потом его показывали, когда я уже лежала в больнице; я его хорошо рассмотрела.

Отличнейший нож, такие у наших рыбаков на Байкале были заткнуты за сапожные голенища.

Нож опять взвился надо мной.

И опять я подняла ногу, и опять ударила чугунным ботинком.

Я попала ему по руке.

Я начинала его видеть. Пот на лбу. Пот на дрожащей губе. Кровь на ноже. Кровь на руках. На руке тату: летящий орел. Веревки волос. Зубы гнилые. Он их скалил, для бодрости, чтобы смелее бить.

Я не видела людей, перед глазами вился и плыл туман, но слыша-  
ла их.

Люди сбегались, сначала их было немного, потом гомон поднялся на весь подземный переход, потом я услышала свист, свистели оглушительно, умело. Потом топанье: это ко мне бежали санитары с носилками. Меня взгромоздили на носилки, а собака бежала рядом и отчаянно лаяла.

Собаку, собаку не гоните, еще успела сказать я, пусть собака будет со мной, – и это последнее, что я тогда успела сказать.

Глаза я открыла уже на белой койке. В подушках. Моя шея, и грудь, и руки – все было забинтовано. Врач сидел около меня на табурете. Вздохнул: прекрасно, очнулась! Отошел наркоз! Мы тебя зашили. Счастье, что он не порезал тебе лицо! А все-таки немного хватанул. Вот здесь, щеку. Такой странный шрам у тебя на щеке будет. В виде креста. Вот тут, около уха. Ты уж не обессудь, ладно? Меченая будешь. Скажи спасибо своему маньяку, что он тебе всю твою красоту оставил. Не вспахал тебя, как кусок земли. Да и на кладбище ты, как видишь, не потрюхала в персональном катафалке.

Веселый был мой врач, шутник. Лысый и маленький. В лупах-очках. Чем-то он напоминал мне моего брошенного лысого, доброго муженька.

Губы у меня склеились. Я с трудом разодрала их, подала, как собака голос, хрипло и беспомощно взлаяла раз, другой, да, было больно говорить. Залепленная пластырем щека немела и холодела.

Я жива?

Как видишь. В рубашке родилась, девчонка.

А футляр где?

Какой еще футляр?

А собака где?

Какая еще собака?

А одежду мою от крови постирали?

Успокойся, постирали! Благодари нашу сестру-хозяйку. Хлопотунья она у нас. Она сама возилась с твоими шмотками. В тазу замачивала, в трех порошках. Кровь, она ведь, знаешь, тяжело отстирывается.

А паспорт мой вы в куртке случайно не выстирали?

Нет, ха-ха, нет! Сообразили, карманы твои загодя обшарили! Деньги твои все целы. И паспорт цел. Не переживай, ладно? За тобой сюда муж придет? Ему как позвонить?

Я повернула на жесткой подушке перебинтованный чугунный шар головы.

Нет у меня мужа.

Как же это нет? Штамп в паспорте есть, а мужа нет?

Я молчала. А зачем говорить?

Врач тоже помолчал, покачался на табурете. Потом откинул с моей груди одеяло и быстро, осторожно прошелся пальцами, как пианист по клавишам, по моей груди, плечам, шее. Я не чувствовала его легких пальцев – мое изрезанное тело скрывалось под ватой и бинтами.

Давай я тебя как-то исхитрюсь послушать. Я осторожно, ладно? Ты дыши глубже. И думай о приятном. Ладно?

Вот теперь я чувствовала прикосновения. И боль. И жалость.

И далекую, глухую, как тихая песня, тоску.

Белая больница вокруг меня нежно сияла чистым ледяным кафелем. Пахло лекарствами, пшенной кашей, спиртом, хлоркой. Я скосила глаза. На койках в палате лежали еще люди. Перевязанные, старые, молодые. Кто молчал, кто стонал. Кто плакал. Кто бормотал: доктор, доктор, вы там у нее сидите слишком долго, доктор, а ко мне вы подойдете?

Врач слушал мое сердце.

Слушай, что это у тебя сердце как у зайца бьется? Как у твоей собаки? Слишком часто. Я думал, после реанимации пульс станет реже! А у тебя мелет, как мельница!

Врач обернулся. Рядом стояла белым ледяным солдатом девушка в белой шапочке. Так, назначить обзидан, анаприлин, внутривенно магнезию, даже лучше панангин...

Сыпались медицинские имена, приятные для слуха, красивые, иностранные.

Мне на очную ставку привели в больницу моего убийцу.

Я чуть не закричала: мальчик!

Это был просто мальчик. Домашний мальчик.

Длинные патлы свешивались на лоб. Глаза глядели темно, широко, потерянно.

Нежная кожа, нежный рот. Все нежное, еще цыплячье. В пуху.

Глядите! Да, да, вы! Глядите на то, что вы сделали!

Он потерянно глядел на меня. Ему было трудно глядеть. Он зажмурился.

Так стоял перед моей койкой, зажмурившись. Глаза закрыты, а рот открыт. Смех, да и только. Рот ловит воздух. Рот хочет жить, поэтому дышит. И внутри расправляются легкие.

Вы ей легкие повредили! У нее вся шея изрезана!

Вы его – узнаете?

Да, я его узнаю, трудно, больно сказала я. Только вы его не убивайте!

С чего это мы будем его убивать? Мы его будем судить! Он у нас надолго, если не на всю жизнь, за покушение на убийство сядет!

Меня досрочно освободят, вдруг прошелестел мальчик белыми губами, очень тихо, неслышно. У меня родители связи имеют.

Мужчина, что стоял за спиной мальчика, коротко, сухо рассмеялся.

Может, это был следователь, не знаю.

Связи! Ишь чем испугал!

Да, связи и деньги, так же тихо ответил мой убийца.

А потом опустил голову низко, так, что подбородком груди коснулся, и тихо заплакал.

Я все придумал. Нет у меня родителей. Я сирота. И я недавно расстался с женой. Она от меня к другому ушла. И я решил...

Убивать всех девчонок решил, да?! Муж недоделанный! Какой ты муж! Ты – ублюдок!

В палату вошел врач. На ходу поправлял белый колпак на лысой смешной голове. Эй, товарищ, товарищ, вы не очень-то громко тут, ладно, больная еще лежачая, больной нужна тишина, она только что из реанимации, и вообще сейчас у нее по режиму капельница, и вообще заканчивайте вашу очную ставку, вам все подтвердили, и ладно, и хорошо, кончайте уже, ладно?

Мой убийца по профессии оказался музыкант. Трубач.

Учился в консерватории, не доучился.

Женился, работал в ресторане, играл на трубе.

Музыкант, это страшно! Музыкант, чудовищно! Значит, музыка не спасает от ужаса? От ножа – убийцу – не спасает? И никакой на свете музыке руку не удержать, если рука пожелает убить?

Труба, я видела такую картинку в книжке, летит ангел, держит трубу и дудит в нее, летящий ангел, трубящий ангел. Крылья за спиной. Труба в руках. Щеки надул, как пузыри. Летит в облаках. Из-за облаков брызгает вниз, на землю, густой сноп солнечных лучей.

Лучи острые, летят, как ножи.

А крылья у ангела прозрачные, как душа.

Я лежала и воображала, как я выздоровею, случайно встречу его на улице, а может, подкараулю и подойду близко, и придвину к нему лицо свое очень близко, придвину лоб к его лбу, и спрошу тихо так, внятно, весело: ты все еще на трубе играешь?

И пусть он станет бледным, белым. Как этот больничный кафель.

Я лежала под капельницей и чувствовала себя лягушкой.

Лягушку разрезали для опытов, а потом сшили. Она еще не может квакать. Но очень хочет.

Доктор, а шею он мне совсем, насквозь разрезал или как? А петь я смогу?

Чудо твое, счастье твое, девчонка. Сможешь. Это я тебе говорю, доктор Коньков! Сможешь! Связки не задеты, трахея не задета. Это просто чудеса, как этот ублюдок удачно ножом махал. В смысле, неудачно. Еще всех на лопатки своим голосочком соловьиным положишь! Выйдешь отсюда, в консерваторию поступай, ладно?

Выписываясь, я расцеловала доктора Конькова в обе щеки. Он сдернул белую шапочку и вытер ею мокрую лысину.

Ты к нам больше не заявляйся, ладно?

Ладно, ладно, шоколадно.

В консерваторию поступи, ладно?

Ладно! Если примут!

Сестра-хозяйка выдала мне мою одежонку. Я и ее в щеки поцеловала. Два раза, а она сунулась в третий: ты, говорит, не русская, что ли? Надо же по-христиански трижды! А ты что, татарочка, видать? Ну да какая разница!

Я уходила, а она плакала. Я обернулась и вижу: она крестит меня, рука чертит крест в воздухе.

Я пришла на чердак.

Черной Дильки не было; и ни одной ее вещи тоже не было нигде.

Собаки Зольки не было: никто не лаял, не выл, не облизал мне радостно лицо.

Белая Наташка явилась ночью, вся избитая, и долго плакала у меня на груди.

Шея и грудь у меня еще были сплошь залеплены широкими пластырями, и я иногда их ощупывала, словно удивляясь, что жива и цела. Рубцы затягивались. Еще болели. Но все тише и тише.

Трубящий ангел отлетал, улетал все дальше и дальше, трубил все тише и тише.

Наконец я видела только крылья, только их смертный взмах, а трубы уже не слышала.

Наташка, у тебя есть какие знакомые на Московском вокзале? Поговори с ними, может, я проводницей устроюсь?

Он хлюпала носом, вытирала волосами мокрые щеки, все в синяках.

Шапочка проводницы и узкая, в обтяжку, юбка мне очень шли. Я любила глядеть на себя в этой шапочке пирожком в вагонное зеркало. Сама себе казалась не проводницей в вагоне скорого поезда «Нижний Новгород – Адлер», а стюардессой международных авиалиний.

Наука нехитрая. Разнести белье. Подмести полы. Вытрясти длинный, во весь вагон, коврик. Растопить титан и вскипятить воды. Все?

Но идут, и идут, и идут, все тащатся и тащатся: кому чаю налить, кому с сахаром, кому без сахара, кому с печеньем, у кого ребенок обсикался, и надо ползунки высушить, кому плохо с сердцем, корвалол-валидол, кто станцию проспал, на кого ночью сосед по купе набросился и ну давай раздевать, кто в ящике взрывчатку везет, да не взрывчатку вовсе, а шампанское, ах, шампанское, так ведь оно хуже взрывчатки взорвется, от жары да от тряски!

Шапочка моя, залихватская пилоточка, едва зажившая жилистая шея моя, пластыри я сдернула, устала я от них, и пассажиры косятся на мои шрамы, вспухшие, лиловые, красные, – волосы мои густые, ночные, выбивайтесь из-под пилотки, скройте мои раны, скройте все, что было до сих пор! Есть только этот поезд, и он стучит колесами: тук-тук, тук-тук, – это железное сердце стучит, оно железное и вечное, ему износу нет, мажь его только машинным маслом, и все, другого ухода не требует. Вам с чем чай, мужчина? С сахаром? Пряники есть!

Я выучила наизусть все названия станций по этой дороге, южной, жемчужной.

Воронеж, Георгиу-Деж, Россошь, Кантемировка, Миллерово, Шахты, Новочеркасск, Ростов-на-Дону. Каневская, Брюховецкая, Краснодар-Главный. Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи. Сочи, и дни и ночи! Хоста. Адлер!

Адлер, в честь какого фрица его назвали? В честь какого фашиста?

Я разносила чай, и горячий чай выливался мне на ноги. А вы вся в шрамах, товарищ проводница, вы что, охотница, вы из Сибири, что ли, спросила меня пожилая женщина в старинных круглых очках; одно стекло очков у нее было заклеено белой бумагой. Да, я на медведя охотилась, одна, с рогатиной, подтвердила я, серьезно кивала, расставляя по столу чай в железных подстаканниках. Мужик на верхней полке расхохотался и долго смеялся, от души. Потом рванул у себя на груди футболку. Вот, гляди, у меня тоже вся грудь в шрамах! А это меня, между прочим, братки порезали! Может, тебя тоже братки, а не медведь, да ты стесняешься сказать? Я ничего не стесняюсь. Пейте чай, пока горячий!

Там, в том скором поезде, я работала в шестом вагоне, а в седьмом вагоне работал проводник. Его звали Андрей. На затылке хвост, ну конь и конь. Все стриженые, а он волосы отрастил и в хвостик резинкой забирал. У каждого своя придурь, я понимаю. Мы вечерами собирались чайку попить. То у меня в купе, то у него. Времени было мало между станциями. Надо работать, некогда чаи гонять. Поезд перестукивал колесами. Поезд что-то нам говорил, шептал, вдалбливал, втемяшивал. Может, долдонил: не пропустите, не пропустите эту станцию, не пропустите друг друга? Там, на Кавказе, куда мы мчались, совсем недалеко, за снегами мощных гор, ревел от ужаса и стрелял Карабах, восстала и стреляла, и взрывала гранаты Чечня, убивали друг друга армяне и азербайджанцы, чеченцы и русские парни, а этот парень с конским хвостом пил чай из стакана в алюминиевом вагонном подстаканнике, с подстаканника на нас глядела башня Кремля со звездой и советский герб, а нашей страны уже не было, от нее отвалились большие куски, и уже в одно лукошко их не собрать, пей чай, а то остынет, ну что ты на меня так смотришь, Андрюша, я что, сахарная, медовая, надо мной что, пчелы кружатся?

Краснодар близко?

Еще полчаса.

Краснодар-Главный, не пропустить! Пропущу, мне начальник зарплату пропустит!

Есть еще Краснодар-Второй.

Зачем ты...

Ты такая...

Мы переспали с этим хвостатым парнем в его купе, под звяк подстаканников, под стук колес. Я так захотела. Да и он захотел. Мы захотели оба. Мне понравилось с ним. Он в постели был такой нежный. Весь струился и таял. И так тихо, тихо целовал меня. Надо мной все в постели измывались, трясли меня и колотили, а этот дышал в меня тихой лаской. Он даже был ласковее моего забытого мужа.

Он гладил меня губами, как меховой лапкой. Как цветком розы. Веткой полыни.

И я растаяла.

Ты такая девочка, милая девочка. Ты можешь много раз? Да? Я с тобой тоже могу много раз. А разве мужчины могут по многу раз? Это восточное учение дао, надо удержать в себе семя, тогда ты можешь наслаждаться бесконечно. А ты умеешь... так, ну как в этом дао? Ты же видишь. Еще как умею. Я знаток восточной мудрости. Я занимаюсь Востоком много лет. Ты такая... нежная... светлая... волосы у тебя черные, а сама ты...

А зачем ты... завязываешь хвостик... на затылке...

А потому что... это вайшнавы завязывают... и даосы тоже завязывают... и я... открою тебе секрет... Иисус Христос тоже связывал волосы в хвост... в этом есть тайна... ты собираешь каждый волос к волоску, и связываешь воедино... это единое во множественном, и множественное в едином...

В едином?..

А ты ведь такая малышка! Ты такая девочка... Ты... такой ребенок... Колечко это смешное у тебя в губе... Да, ты женщина, но ты и ребенок, с тобой надо быть очень нежным, тебя надо носить на руках...

Он лежал на мне, потом я лежала на нем, мы стонали от радости.

Этот проводник с конским хвостом был первый, с кем я испытала радость любви.

Он разбудил меня, а то я бы так все спала и спала. И думала, что голый мужчина – это либо кровь и жестокость, либо серая скука.

Краснодар-Главный ! О, ужас! Жуть! Подъезжаем! А меня один мужик просил его разбудить! А я в твоем вагоне! Ну что же ты зевал! Все прозевал!

Он приоткрыл окно, голый, стоял перед окном, курил и ссыпал в окно, в теплый ветер, пепел.

Оденься, дурачок! Сама дурочка! Тебя же в окно видать! Кому видать? Полевым мышам? Кошкам на крышах? Мы же мчимся быстрее ветра!

Что ты врешь-то все!

Я кинула ему рубашку. Он прикрыл ею живот, руку с сигаретой высунул в ветер и ночь.

Мы одевались друг перед другом, глядя друг в друга, как в зеркало, отражаясь друг в друге и безумно, пьяно хохоча. Андрей втискивал ноги в железнодорожные брюки, я влезала в узкую короткую проводницыну юбку. Нахлобучила пилотку, мой проводник сгреб меня в охапку и поцеловал. И целовал, целовал, не отрывался. Черт, мне мешает твой пирсинг. Я сейчас его съем. Андрей-воробей, не гоняй голубей! Пусти! Вон уже вокзальные огни! Все, бегу!

Беги... ночью приходи...

Нет, это ты приходи... а то ведь скоро Адлер...

Да, скоро Адлер, а потом еще обратный путь, двое суток...

Я, с исцелованным лицом, с зацелованными губами, счастливая, стояла в дверях вагона с желтым флажком в руке, и люди, что садились в вагон и протягивали мне билеты, восклицали: ах, какая у нас проводница молоденькая да красивая!

И я гордилась собой.

Я гордилась и наслаждалась этой краснодарской южной ночью, запахом настурций на привокзальных клумбах, собой, Андреем, этим поездом, битком набитым все едущими и едущими вдаль людьми, я вдыхала это счастье, оно мазало меня медом по губам, и я слизывала его, я чувствовала на губах нежные губы моего проводника, и шептала: спасибо тебе, Андрюша, спасибо, спасибо тебе.

Наконец хоть кому-то в жизни я могла сказать спасибо за любовь.

У нежного Андрея была в Нижнем семья: жена и двое маленьких детей.

Жена у него пила и гуляла. Малых деток он, занимаясь своей восточной медитацией, сажал в два рюкзака и вешал рюкзаки на гвозди над дверью. Мальчик и девочка верещали, сначала смеялись, потом плакали, а Андрей сидел, скрестив ноги, и думал о вечной жизни.

Так что он никак не мог целовать меня нежно и вечно.

Мы оба понимали: у нас есть лишь этот поезд, и другого рейса не будет.

Но еще две ночи. И звон ложечки в стакане.

И станционные фонари, что светят на дно слепого от слез глаза, светят прямо в душу.

Иди, тебе пора.

И тебе тоже пора. Станция.

Тогда стрелять как раз начали, мощно и страшно, взрывали друг друга и стреляли друг в друга в Средней Азии, земле дынь и винограда и любовных стихов, стреляли на Кавказе, таком недавно мирном, пахнущем цветами, заваленном по горло фруктами и залитом вкусным вином; стреляли в Махачкале, в Сухуми и Батуми, взрывали в Карабахе и в Ереване, и вот огонь заполыхал в Чечне. Джохар Дудаев решил, что Чечня свободная страна, а кто свободен от самих себя? Свобода – великая иллюзия, я теперь это знаю. Вера – тоже иллюзия, но я в этом не уверена до конца. Я должна проверить, – а чем я занимаюсь всю жизнь, как не проверяю это, проверяю своей кровью, своими переломанными пальцами, своим перерезанным горлом? Аллаху акбар! Аллаху слава! А это правда или нет? Не верю! Я на слово никому не верю! Есть память крови, и где-то там, далеко, не у нас, не на земле, есть слава Единому Богу. Тому, кто любит всех, без деления на расы и народы. Я не знаю этого, но я догадываюсь об этом. В нашем мире и догадка имеет хорошую цену.

Началась новая жизнь, открылся тайный сундук, ящик с оружием, из него быстро повытаскивали винтовки и огнеметы, гранаты и базуки, мины и снаряды, пушки и автоматы Калашникова, и патроны в обоймах, и бомбы и ракеты, вытащили все – истребители, танки, зенитки, и мужчины, что насиловали и смертно били нас, женщин, редкие любили, все больше били, поглядели друг на друга и решили: чем женщин бестолково бить, лучше мы со смыслом друг друга убьем! С каким смыслом? Землю отнять? Землю взять? Землю отдать? Жизнь за нее отдать? А на твоем трупе станцуют лезгинку? От тебя, от живого, отрубят ступню, на спине у живого тебя вырежут красную звезду? Звезда! Серп и молот! Совдепия умерла, но она все не давала покоя тем, кто внезапно стал от нее свободен. Я свободен, словно рыбка на крючке! Я свободен, словно вошь на гребешке! Дурак человек, кой черт он в свободу верит?! Верит сильнее, чем в любого бога! Верит, молится ей, умирает за нее!

За что умираешь, друг?! За что умираешь?!

Начальник вокзала назначал меня на южные поезда. Андрей пропал, как и не бывало его. Может, бросил работу. Может, его убил кто в подъезде – теперь убивали за пачку сигарет, за сто рублей. Наш поезд остановили в чистом поле, в вагоны вбежали люди, кто в черных шерстяных колпаках с прорезями для глаз, кто с голыми небритыми рожами. Восточные ребята, говорили как клекотали. И все кричали: Аллаху акбар! Аллаху акбар! Мы все, и проводники и пассажиры, подняли руки вверх, многих обокрали, взяли кошельки и дорогие вещи, женщин заставили вынимать золотые серьги из ушей, а если бабенка слишком долго копалась, вырывали серьги из мочек с мясом, гоготали и хохотали. По плечам и шеям женщин текла кровь. Они закрывали лицо руками. Небритый кавказец шагнул ко мне и потрогал пальцем мой серебряный пирсинг в моей губе. Пальцем катал его по губе, потом легонько дернул, небольно. И что-то сказал, и в горле у него перекатился камень, перевернутый бурливой водой. Я пожала плечами. Я ничего не понимаю! Говори по-русски! Па-русски хочишь, карасывая дэвушка? А па-русски очинь проста: я тибя с нами забираю! Ты ва вкуси нашива босса, вах! Он лубит таких, худых и бешаных, вах!

Небритый обернулся, мигнул тем, за ним, в черных масках. Да какие маски, просто черные овечьи носки напялили на башки, и все искусство! Парни в масках подскочили, я и пикнуть не успела, как мне за спиной связали руки. Я неистово задергала ногами – тут же связали и ноги. Я с тоской смотрела на крепкие веревки, впившиеся в щиколотки. Чувствовала себя коровой, которую везут на бойню. В том, что меня впереди ждала бойня, я нисколько не сомневалась.

Для верности мне еще и завязали глаза. Машинная гарь, машинный дух. Тряска, ветер, крики, шорох шин. Я хочу выйти! Мне надо выйти! Ей нада, вах, цаца! Аслан, выведи цыпачку на свежый воздых! Камни все перекатывались в бурной реке. Речь сливалась в один поток и текла, и буруны едва касались моих скул и ушей. Я, с завязанными глазами, стояла перед машиной, и мне, прошедшей огонь, воду и медные трубы, было влом попросить: снимите с меня трусики, и я сяду на корточки и помочусь. Развяжите мне руки! Ищо чиво, руки ей асвабади! Ты, пажалуй, нам сваими ручками наделаишь дел! Я тибе памагу! Сильные руки залезали мне под юбку, рвали вниз трусы. Вокруг стеной, до жаркого неба вставал оглушительный хохот. Давай, давай! Под зад пинали. Карасывая дэвушка, давай мачись! У тибя, такой карасывай, далжно быт, и мача залатая! А вот мы сичас паглядим! Давай, не заставляй ждат, хужи будит!

Ехали и ехали, я лежала на заднем сиденье, моя голова на коленях у боевика, ноги на коленях у другого. Иногда чужие руки задирали мне юбку, забирались под трусы. Раздавался голос впереди, от руля; голос ругался, камни в горной реке перекатывались сильнее, страшнее. Руки покидали мой напрягшийся живот, мои стиснутые крепко бедра. Ты, худая до чиво! Мамка каший мала кармила, или как? Ат-ставить бал-тавню! Серкан таких как раз и абажаит!

Я решила больше не проситься на двор, пусть у меня лопнет мочевой пузырь, или нет, лучше я, как младенец в пеленки, наделаю лужу здесь, прямо в машине, прямо на этом кожаном сиденье, и моя моча затечет под грязный камуфляж этих, в черных масках. Вот здорово будет! Я так и сделала. Как они орали! По-ихнему чертыхались, вопили: шайтан, шайтан! Один меня ударил по щеке. Моя голова мотнулась. Ты, ты чуть мне шею не сломал!

Арслан! Не трон иё! Сказана жи была: не трогат дабычу!

Шуршанье шин прекратилось когда-то. Мне зло и грубо развязали ноги. Я сладко пошевелила опухшими ступнями. В молчании меня вытащили из машины. В молчанье мы все, они, зрячие, и я, слепая, двинулись вперед. Я шла неуверенно, один из мужчин зло толкнул меня в загривок, я споткнулась, упала лицом вниз и разбила скулу. Меня подняли, кровь текла по щеке. Главный опять дико, гортанно ругался. Рычал и плевался. Подошел и сам вытирал мне щеку тряпкой. Может, своим грязным носовым платком. Да были ли у них, суровых воинов, дамские носовые платки? Может, грязным своим носком вытирал.

Чуть не стошнило.

Меня ввели в дом, помогли переступить порог. И вдруг сдернули с глаз повязку.

Передо мной сияла белым мрамором лестница. Она вела наверх. Я и пошла по ней наверх. Я шла впереди, они все, воины Аллаха, за мной сзади. Я щурилась: глаза отвыкли от яркого света, болели. Еще один порог, и я в просторном зале. Огромный стол. Далеко, на краю стола, массивное кресло. В кресле еле различим человек. Он мне сначала показался игрушкой. Манекеном. Маленький и худой. Встал, и оказался не таким уж маленьким. Тощий, поджарый, настоящая борзая. Он медленно шел ко мне. Боевики почтительно отступили. Я стояла на паркете одна перед ним. Соображала: большой начальник, может, даже генерал. Может, один из тех, кто родил войну в Чечне. А разве это Чечня? Весь Кавказ сейчас Чечня, более того: весь Кавказ сейчас Турция, Иран, Ирак, Афганистан и Пакистан. И Саудовская Аравия. И проклятый Йемен. И нечестивая Сирия, ну да Сирию мы все равно завоюем. Когда-нибудь. Не сегодня. Не сейчас.

Кто это говорил? Я сама? Или тот, кто стоял напротив меня, рядом со мной, и смотрел мне в лицо? Или я читала его мысли? Я испугалась. Я всегда смеялась над колдовством. Тощий надменный человек с острым, как острый топор, подбородком, с залысинами на высоком рахитичном лбу, поднял руку и отвел у меня со лба мои спутанные волосы. Спросил меня на своем языке, и я не поняла вопроса. Спросил еще раз, и прозвучали другие слова, другой язык; я опять пожала плечами. Тогда он изумленно вымолвил по-русски: Аллах велик, да она русская, я бы ни за что не сказал, что ты русская, ты же настоящая турчанка!

Турчанка, воззрилась я на него, турчанка? Это с какой это радости я турчанка?!

Вах, как она хорошо гневаться умеет! Тощий смеялся от души. Тепло так, хорошо смеялся. Опять что-то витиеватое на своем языке сказал, ко мне подскочили и размотали мне веревку на запястьях. Я долго трясла затекшими руками. А вас как зовут? Серкан? Вах, что за счастье, она уже знает мое имя! Откуда ты узнала мое имя? Кто тебе сказал?

Этот свадебный генерал по-русски говорил почти без акцента. Неважно, сказала я, кто сказал. Важно, что ты Серкан. Вах! Почему ты говоришь мне «ты»? А ты почему говоришь мне «ты»? Опять смех. Хочу и говорю! Лицо его внезапно стало каменным, ледяным. Я делаю все, что я хочу! И здесь, и в своей стране! У меня слишком много денег и слишком много власти в руках, вот в этих руках, чтобы я боялся что-то сказать или сделать. Он вытянул вперед руки. Я смотрела на эти руки. Худые длинные запястья. Холеные ногти. Узкий золотой перстень с ярким зеленым камнем на указательном пальце. Я представляла, как эти руки, именно эти, похожие на две длинных селедки, приученные к богатству и роскоши руки будут мять и терзать меня в постели, как эти ногти будут сладострастно царапать меня. Меня, худую рыбешку, выловленную частой сетью к царскому столу. Я вздернула лицо, тряхнула волосами. А у меня мало власти, скажешь, да? Но я ни за что не лягу под тебя, ты, сатана! Я лучше себе жилы на руках перегрызу! Или из окна твоего кинусь! А посадишь в комнату без окон – башку о стену разобью! Ты что, в Москве учился, гаденыш , что так хорошо шпаришь по-русски?!

Он подошел ко мне очень близко.

Так близко, что я слышала его дыхание и видела цвет его глаз. Его глаза были светло-зеленые, с коричневыми крапинками по всему ободу радужки.

Да, я учился в Москве. Поэтому мне карты в руки. Если хочешь знать, это я даю деньги, много денег на то, чтобы ваше восстание в Чечне закончилось победой ислама. Я воин Аллаха, я турок, и я снабжаю деньгами и чеченцев, и наемников, сюда, на Кавказ, едут воевать со всех концов мусульманского мира. Ты! Знаешь ты, что через сто лет весь мир встанет под зеленое знамя Ислама? Да что там через сто: раньше! Все уже предрешено, все уже сказано в Коране. Ваше сопротивление напрасно! Вы сами не знаете, с кем связались. Ты врешь, что ты русская! Я в тебе за сто миль отличу восточную кровь! Нашу кровь! Мне надоели русские коровы! Я давно хотел такую: черную, худую, злую, безумную, огненную, нашу. Ты из рода дервишей! Что ты умеешь? Танцевать? Петь? Любить? Драться? Только не говори мне, как ты умрешь! Я не дам тебе умереть. Смерть, это не для тебя! Ты должна жить! И ты будешь жить.

Со мной!

Я с тобой никогда не буду жить, сказала я и плюнула ему под ноги. Отпусти меня! Подобру-поздорову отпусти! Или вы только и можете, что искалечить девушку, изрезать ее, исполосовать и переломать, а потом выкинуть этот живой мусор на помойку?! На кой мне такая жизнь?! Лучше тогда сразу прикончи!

Мы стояли друг против друга, смотрели друг на друга, и я видела, как менялось его лицо.

Сначала это было лицо камня. Потом лицо льда. Потом лицо зверя. Потом лицо старика. Потом лицо ребенка. Потом лицо человека.

Я услышала длинный хриплый вдох и выдох. Твоя взяла. Ты победила. Прикажите устроить теплую баню. Разденьте ее, не касайтесь ее. Кто тронет ее – тому кинжал под ребро. Приготовьте благовония и хорошее мыло, и нежные греческие губки. Я сам буду купать ее.

Он сказал это на своем языке, но я опять, странно и страшно, все поняла.

Да, он был чистокровный турок, несмотря на светлые волосы и светлые глаза, из Стамбула родом, и звали его Серкан. Я вскоре узнала его фамилию. Он мне сам сказал. Фамилия эта, набор случайных чужих букв, ничего мне не говорила. Он пожал плечами: ну и дура, ты совсем необразованная, ты там у себя в России, что, не читала ни одной газеты? За мою голову ваш толстый президент, дурак и свинья, назначил гонорар в миллион долларов! Того и гляди, прилетит ваш гнусный федеральный самолет и сбросит бомбу на мою ставку. Мне пора убегать отсюда, как это у вас говорят, делать ноги, да, возвращаться обратно в Стамбул. А потом мы поедем на острова в Тихом океане. Или в Индийском. Ты хочешь на острова? Ты ни разу не видела океан!

А зачем мне на океан?

И кто такие мы?

Но ведь мы спим вместе! Ты моя наложница! Это ничего не значит. Стоит тебе захотеть, и у тебя будет сто, двести таких наложниц, и еще лучше. Лучше? Лучше тебя нет, Раиса-джаным!

Да, да, да, ври больше! Ври, как это у нас говорят, с три короба!

С три чего? Ко-ро-ба?

Да, мы уже спали вместе. Давно. С того дня, как меня к нему привезли. В одной кровати. Широкой, как море. Как океан, где я ни разу не была.

Мы пережили разрывы и взрывы. Мы не погибли под пулями. Мы пережили налет, и грохот, и огонь, опять на меня, смеясь, шел огонь, и я смеялась ему в лицо. Огонь, он все-таки хотел меня настигнуть и убить. А я не давалась. Я показывала огню кукиш. Богатый турок Серкан велел мне быстро собрать в чемодан все, что я хочу. А что я хотела? Я тогда ничего не хотела. Великое равнодушие обняло меня. Обняло и качало на руках. И пело мне колыбельную. Каких мне никогда и никогда, ни в каком моем детстве не пел. Однако я покорно, как настоящая восточная раба, сложила вещи в чемодан, а у меня уже завелись вещи, много вещей, платья и такие и сякие, и кремы, и гели, и скрабы, и даже духи – о, душись не хочу, настоящие египетские, настоящие турецкие! Душись, Раиса-джаным, да только шелковым шарфом ненароком с горя не задушись! Не вешайся, не стреляйся, как бы тебе ни было худо! Люди живут хуже тебя. И ничего, живут! И не все из них становятся рабынями настоящего турецкого паши!

Он, смеясь, пальцем трогал мой пирсинг на губе, потом приближал ко мне лицо и кусал мне губу, как пес.

Каким он бизнесом занимался в своей стране, я не знала. На такие вещи мне, как настоящей женщине, было плевать. Я должна была знать только постель и сервировку стола; а, да, еще как правильно париться в бане, я теперь все знала про турецкие бани хамам, я сама любила сидеть в клубах белого, голубого горячего пара, разваливаться голяком, куда рука куда нога, на мраморной скамье, а слева сиял и мерцал бассейн, и справа светился синей водой бассейн, на мраморном дне играли лучи и звезды, под водой переливалась перламутром мозаика, вспыхивала вязь позолоченных арабских надписей, турок и здесь, в Чечне, устроил себе маленький Стамбул: бани тут ему сварганили просто роскошные, такие, должно быть, были у римских императоров. Серкан ночами, натешившись мной, попивая вино и заедая его персиком, а я лежала вниз лицом и отдыхала от его изнурительных, бесконечных приторных ласк, рассказывал мне про римских императоров. Про византийских вождей. Про пророка Мухаммада. Про то, чем газават отличается от джихада. Про великий арабский Халифат. Мы возродим великий Халифат! Дай срок. Мы все, как один, встанем под зеленое знамя Аллаха. Все как один! Не будет препятствий нашей силе. Мы покатимся клубком огня по миру, взорвемся потоком огненной крови. Земля вкусит смерть от нас, но земля все равно будет наша. Вся! И навсегда! Здесь, у вас, в вашей Чечне, – только начало. Мы очистим Землю от неверных. Очистим ее от скверны. От вас. Вы – отбросы Земли, ее мусор, ее грязь и шелуха. Ваш Христос – всего лишь нищий бродяга Иса ибн Марьям аль-Масих, он ходил по пыльным дорогам и учил, как надо жить. Всего лишь! И до него ходили и учили, и после него ходили и учили! А вы, вы все зачем-то бесполезно верите в него! Вместо того, чтобы верить в Аллаха и Мухаммада, пророка Его! Но мы заставим вас. Вас, тех, кто не захочет умирать! Вы все примете Ислам. И ваши дети уже будут мусульманами. Ты знаешь, глупая Раиса, что грядет великая, на много десятков, а может, сотен лет великая война мусульманского мира с поганым миром христиан? Ты собрала чемодан? Вах, она еще не собрала чемодан! О чем ты думаешь, глупая девчонка?!

Надо отдать ему должное, этому Серкану: он тогда еще не бил меня.

Он мог так хлестнуть словом, что после его слов болела грудь, будто тебя поперек тела крепко, с потягом ударили хвостатой плетью.

Но руку на меня не поднимал.

Значит ли это, что он любил меня?

Его чемоданы были уже собраны его верными слугами. На него надели перед зеркалом чистую рубаху. Он даже галстук завязал. Вдали глухо ахали разрывы. Работала артиллерия. Наша? Повстанцев? Ну и что, и пусть бы эта чертова Чечня отделилась от России, шептали мои пересохшие от жары губы, черта ли лысого нам в ней, в этой крохотной, как божья коровка, республике, отпустили бы уже ее с миром в этот фанатичный мусульманский мир, влилась бы она в него, как молоко в огромный чан, и булькала бы там, и чего мы-то, мы ее жалеем? И кладем за нее жизни наших ребят? Я понимала: наши солдаты каждый день гибнут за эту противную Чечню. Ну отдали бы, уже отдали бы ее этому Дудаеву! Серкан рассказывал мне про Дудаева. Он считал его героем. Говорил: если Джохар погибнет на этой войне, его память увековечат не только в Чечне, но и во всех странах мира, где бьются сердца мусульман. Иди, глупая девчонка, беги быстрее, нас ждет вертолет!

Мы побежали к вертолету, а артиллерия лупила уже совсем близко. Слишком близко. Я видела, как бежавший впереди нас боевик, его имя было Арслан, упал и забил ногами. Дергался всем телом, страшно выгибал шею, хрипел. Прямое попадание, холодно бросил Серкан и толкнул меня в спину, беги! Мы все, Серкан и я и воины с автоматами за плечами, бежали к вертолету – он ждал нас, дверь кабины была открыта, нам спустили лестницу. Мы, как обезьяны, карабкались по ней, а вокруг уже разрывы вспарывали, вспахивали землю, поднимая вверх черные фонтаны, разворачивая каменные веера. Винт завертелся, внутри вертолета загудело, лопасти резали воздух, от жары лопались стекла. Мы поднимались, сначала вертикально, потом полетели по касательной, и земля под нами закачалась и накренилась. Раздался далекий грохот. Бомбу сбросили, холодно, как обычно, процедил Серкан. Его галстук на снежно-белой, прямо свадебной рубашке смотрелся смешно и жутко. Будто бы в вертолете летел президент, а на него сейчас совершат покушение – вон, вон они, черные солдаты, уже стаскивают с плеч автоматы, уже нацеливают стволы на самого главного человека, что движет миром. Аллаху акбар!

Аллаху акбар, шептали и вскрикивали воины, когда вертолет пропарывал горячий воздух пылающим стальным телом, Аллаху акбар, да будет благословен тот день и тот час, когда мы встали под твое бессмертное знамя! Пахло пылью и почему-то инжиром. Сидящий рядом со мной воин запустил руку в карман и вытащил оттуда горсть вяленого инжира. Протянул мне. Ешь, ханым-эфенди, это вкусно! У вас в России фиги не растут! Фиги, хмыкнула я, и не спешила протягивать руку. Серкан поправил галстук. Пальцы у него чуть дрожали. Ешь, глупая девчонка! Да не забудь поблагодарить!

Я уже немного могла говорить по-турецки.

Чок, тешшекюр эдерим, вежливо наклонила я голову, мне в ладонь скользнули сушеные фиги, и одну я забросила в рот. Жевала. Вертолет летел, жужжал пчелой. Мой турок глядел на меня слишком пристально. Будто разрезал глазами, а зрачками подцеплял мои внутренности и тащил наружу, вынимал все мои тайны, все мои фишки, чтобы лучше рассмотреть.

Все мои сладкие секретные фиги.

Где-то мы сели подзаправиться; я не поняла, где. В России или уже не в России. Пару раз по вертолету палили, пилот сквернословил по-ихнему, поминал шайтана. Нас не подбили, хотя могли это сделать сто раз. Нажравшись горючего, вертолет взбодрился и летел странно весело, и гудел уже как-то особенно, бодро, не уныло. Серкан вдруг запел. Я навострила уши. Он пел недурно, точно попадал в ноты, приятный ласковый, кошачий баритон наполнил горячее нутро вертолета. Ким Эйер башарылы олмак истийорсаныз заман арзу сыныры кояр? Не олурса олсун, не истедийиниз шаркы ве данс этмек. Бир шей бана гелийор, сизе сеслери вюджудунузун, харекет эттирин!

Я улыбалась. Качала головой в такт. Подпевала. Серкан не слышал. Он пел, закрыв глаза, и тоже улыбался. Я так поняла: мы уже летели над его родиной. А ты-то куда летишь, спросила я себя весело, ты, раба восточной любви? Куда тебя-то занесла нелегкая? Я стала петь погромче, вот я уже пела вместе с ним, и он удивленно открыл глаза, но на меня не смотрел. Он умолк и смотрел в иллюминатор, а я пела одна, я подхватила эту музыку и сразу поняла, ощутила ее, и я импровизировала на нее, голос мой сам выделывал чудеса, взлетал и падал, и наконец мой турок перевел на меня взгляд и стал на меня смотреть, как на облака за бортом вертолета: молча, длинно, восхищенно. А мы уже снижались, и желудок подкатил у меня к горлу, и я оборвала турецкую песню и засмеялась, и турок вдруг быстро наклонился и легко коснулся губами моей голой шеи. Того места, где шея плавно перетекает в плечо. Одного из моих тайных мест. Он любил в постели целовать меня в шею. В мою, всю резаную, в грубых шрамах, шею. Шептал: у тебя шея Шехерезады. А кто такая Шехерезада, спрашивала я. Вах, глупая девчонка! Ты и об этом не знаешь!

Так меня привезли из России в Стамбул, нелегально переправили, как запрещенный товар, контрабанду. В первые дни я ничего не понимала – из того, что говорят на улицах, то, что говорил мне Серкан; он немедленно перешел на турецкий язык, в Чечне он говорил то по-русски, то на плохом чеченском, а на родном – только с убитым Арсланом и с еще одним воином, Джанибеком . Здесь, в Стамбуле, у моего турка тоже был в распоряжении дворец, как в Чечне. Думаю, так: в Чечне он просто оккупировал один из богатых домов, откуда Дудаев, когда объявил независимую Чечню, выгнал советского чинушу. А в Стамбуле дворец был его собственный, наследный, кровный.

Я не сам его построил! Его строили мои прадеды и деды. Он достался мне по наследству. У нас в семьях родится много детей, и для каждого ребенка добрый отец должен построить добрый дом. Дворец? Ах да, по-русски это – дворец! Да, дворец. И чтобы сын, когда вырастет, привел в этот дворец жену.

Он смотрел на меня опять этим выворачивающим душу, как чулок, длинным, пронзительным взглядом.

В этом его дворце было множество залов, комнат, комнатенок, кладовых. Стояли старинные сундуки. Сундуки меня очень привлекали. Я сочиняла про них разные истории. Вот в этом хранится драгоценный атлас и бархат; в этом – громадные океанские раковины, и в иных таятся жемчужины. А здесь, под этой обитой узорчатой жестью крышкой, покоятся футляры с наследными сокровищами. Диадемы, ожерелья, браслеты. Что в сундуках, Серкан? Заткнись, глупая девчонка! Там то, про что знаю только я. Я и еще моя бабушка. У тебя, такого старого, есть бабушка? Ты же старый и лысый! Он вставал передо мной на одно колено и церемонно, по-европейски, целовал мне руку. Ты такая прелесть, Раиса-джаным!

Ни журналов. Ни газет. Ни телевизора. Ни радио. Я жила как на острове. Как на необитаемом острове. Нет, обитаемом; но тут обитали только мы, слуги и служанки. С утра Серкан уезжал на деловые встречи. Меня он оставлял на попечение служанок. Они молчали, их лица были закутаны чадрой. Сверкали только глаза. Однажды я резко открыла дверь в одну из комнат дворца и увидела там на столе огромный железный ящик, а рядом с ним – экран, вроде как маленький телевизор. Я тогда не знала, что я впервые увидала компьютер. Первую, нелепую модель. Женщина, сидевшая за столом, вскочила, от неловкого ее движения локтем на пол упала доска с пластмассовыми буковками. Похоже на пишущую машинку, только меньше размером. Испуганная турчанка закрыла экран спиной. Я поспешила захлопнуть дверь. Я даже не крикнула по-турецки: аффед эрсиниз! Извините!

А на другой день я обнаружила в другой комнате огромный белый рояль.

На нем, сдается мне, никто никогда не играл. Просто некому было.

Белый, сахарный, лаковый; бока блестят; педали светятся двумя золотыми карасями, даже жалко давить на них грязными подошвами. Я подергала крышку: она была закрыта. Тут же в комнату неслышно вошла служанка в черной сетчатой чадре, вынула из кармана ключик, быстро открыла инструмент, откинула крышку. Склонилась в поклоне. Как они все тут за мной следили! Где у них находились потайные окошки? Или эта женщина стояла за гардиной, за атласной портьерой?

Я придвинула к роялю стул, села, одним пальцем простучала простую мелодию. Из края в край вперед иду, и мой сурок со мною! Под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною! Глаза в прорези чадры горели восхищенно. Я уже пела, а служанка, приседая от восторга, глядела на меня, как на божество. Кусочки хлеба нам дарят, и мой сурок со мною! И вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною!

Эту песню я разучивала с Аглаей. Зачем я ее запела, жалобную? Чтобы служанку разжалобить? Чтобы самой себе пожаловаться на свою судьбу? Русская девушка на чужбине, вах, вах!

И мой сурок со мною. И турок мой со мною. Внезапно я разозлилась как следует. Вскочила из-за рояля. Подбоченилась. И пошла, пошла, пошла грудью на бедную служанку, и глаза над черной маской чадры сначала округлились, удивленные, потом вспыхнули ужасом. Я пела на русском языке, но не Цоя, не Гребенщикова, не Бутусова – я пела свою песню, и она была гораздо страшнее. Потому что она была моя.

Меня распинали и резали ножами! Меня поедало хищное пламя! Меня рассекали, меня зашивали! А я – вот она! Вот я, живая! Начнете войну, проклятые рожи, а та же земля, и солнце все то же! Все та же кровь, вам ею напиться – отдать и отдаться, забыть и забыться... Вы дряни! Вы сволочи! Жадные волки! А я вашу шерсть прошиваю иголкой! Застряну занозой я в вашей коже! И выйдет война вам себе дороже! Огонь полыхает! До крика! До дрожи! Огонь, мы с тобою... похожи... похожи!

«Похожи!» – выкрикнула я в лицо служанке, она очумело смерила меня круглыми рыбьими глазами и выметнулась за дверь. Я осталась одна. Я и белый рояль. Рояль, похлопала я его по белому гладкому боку, дружок мой, теперь ты мой единственный друг, ну да мы с тобой еще споем. Еще споем! Еще как споем!

Поздно вечером явился мой турок. Под хмельком. Он нашел меня в комнате, где рояль. Я сидела за роялем и неумело тыкала пальцами в клавиши. Распеваться меня научили, а вот играть на рояле – нет. Пьяненький Серкан поглядел на мои беспомощные потуги, улыбаясь, развел руками: я тебе учителя музыки найму! А лучше учительницу, чтобы ты в учителя не влюбилась! Я уже ни в кого не влюблюсь, Серкан, успокойся, никогда, тускло и скучно сказала я ему.

И он успокоился. Попросил: помой мне спинку в бассейне!

И мы пошли в хаммам, и я напустила горячего пару и терла турку сутулую узкую спину мягкой ноздреватой губкой.

Он пьяно качался взад-вперед, чмокал, как младенец, и распевал турецкую народную песню.

Турок нанял мне учительницу-пианистку и учителя пения.

Учитель пения оказался глубоким стариком, можно было не беспокоиться, что я Серкану вдруг изменю. Старый и седой, с тонкими белыми усиками, похожий на старого хитрого кота. Я не помню его хитрого имени. Он ставил меня к роялю и распевал примерно так же, как Аглая, только чуть похитрее. А-а-а-аоу-у-у-у-э-э-эы! И-и-и-и-и! Я визжала как порося. Ноты я умела немного читать. Он подсовывал мне оперные арии. Я послушно разучивала их. Старик восклицал: какой интересный диапазон, и низы есть, и верхи! Все есть! Может, ты колоратурное меццо-сопрано, эфенди-ханым? Пианистка, пожилая турчанка с огромным вислым носом и волосами на подбородке, густо растущими из огромной родинки, ставила мне пальцы на клавиши, как ставят на ноги хромого и увечного, запрещала вздергивать локтями. Когда я играла, она громко хлопала в ладоши: отстукивала такт. Если я ошибалась, она била меня по рукам маленькой розгой. Кожа на кистях вспухала. Я терпела: Серкан заплатил за уроки деньги. Наверное, много денег. Однажды я не выдержала, и, когда толстоносая старушня снова ударила меня розгой по рукам, я развернулась, выхватила розгу из ее сухой лапки и заехала ею прямо поперек носатого, волосатого лица. Красный рубец на лбу и щеках рос на глазах. Я швырнула розгу на пол и отчетливо сказала по-турецки: вы не смеете меня бить. Старушонка подняла кулак. Я думала, она меня убьет, такая ненависть сверкнула в ее черных, как два угля, глазенках. А кулак внезапно разжался. И произошло удивительное чудо. Старуха сползла со стула мне под ноги. Встала на колени. Униженно поцеловала мне руку и пролепетала: Раиса-ханым, прости старую дуру, не бей меня больше, и бей-эфенди не говори, что я тебя розгой била, он велит меня розгами засечь. Прости, я забыла, кто ты такая! Я изумленно просунула руки ей под мышки и стала поднимать ее с пола. Старушонка оказалась тяжеленькая. Я ее все-таки подняла и усадила на стул. Не бойтесь, ханым, я никому ничего не скажу.

Я пропитывалась музыкой. Я пела, как пила воду в жару. Я пела и хотела петь не дома, а на сцене: среди людей, людям. Иногда это желание охватывало меня и разжигало, и мне хотелось убежать из дворца Серкана, да тут всюду были понатыканы охранники, все окна были затканы проводами сигнализации. День и ночь меня наблюдали; а я наблюдала эту богатую невольничью жизнешку, да устала наблюдать. Раиса-джаным, ты хочешь петь в Стамбульском оперном театре? Твой учитель сказал: у тебя колоратурное меццо-сопрано, ты можешь петь Розину, Джильду, Виолетту! Кто такая, к чертям, Виолетта? Кто такие Розина и Джильда, я уже знала – я пела их партии. На белом рояле лежали толстенные оперные клавиры. Турок отвез меня на белоснежном «мерседесе» в Стамбульскую оперу. Меня слушала высокая комиссия. Женщины с высокими европейскими прическами кивали и лениво обмахивались веерами. Тощие и толстые мужчины в смокингах, в галстуках-бабочках тоже кивали и переглядывались. Они все переглядывались, а я глядела на них. Наконец высокая дородная дама поднялась из краснобархатного кресла и что-то сказала, я со сцены не расслышала. Я глядела из круга света в темную яму зала, и у меня тоскливо сосало под ложечкой. Я внезапно сильно, бесповоротно захотела в Россию. До полусмерти. Они берут тебя в театр, Раиса-джаным! Берут тебя в Стамбульский оперный театр! Какая честь! Какое счастье, уважаемые дамы и господа, спасибо, благодарю! Мой турок целовал всем оперным дамам руки. Склонял голову с залысинами перед старыми певцами. Обернулся ко мне, глаза его сияли гордостью и да, черт побери, любовью. Любовью! Ко мне! Нет, мне это только кажется. Джаным, ты слышишь?! Ты поняла хоть что-нибудь?! Ты – солистка Стамбульской оперы! Праздник, праздник по этому великому поводу! Всех друзей созову!

Он и правда позвал друзей. Повара и халдеи сбились с ног. Столы в парадном зале были уставлены снедью и винами. Я впервые видела такое богатое застолье. Меня заставили надеть лучшее платье. Из блестящей ткани, полоса черная с блестками, полоса золотая, на груди золотая розочка. Тьфу! Платье в пол, на боку громадный разрез. На меня не надевали чадру, попробовали бы только напялить. Я бы и чадру ногтями разодрала, и рожи тех, кто попытался бы ее на меня надеть. Серкан сам застегивал мне на груди ожерелье, оно слепило мне глаза, я жмурилась. Он смеялся от удовольствия. Мои друзья одобрят мой выбор! Несмотря на то что я худая как щепка, съязвила я. Я не знала по-турецки слова «щепка» и сказала: «палка».

Меня усадили слева от моего турка. Застолье гудело. Бокалы звенели безостановочно. А еще говорят, мусульмане не пьют вина! Впрочем, Серкан не придерживался строгих традиций ислама. Ты споешь нам? Дай мне пожрать! Я уписывала жареное мясо в тесте, виноград, пахлаву за обе щеки. Мясо в тесте, с луком и пряностями, напомнило мне башкирские бэлиши. Да на Востоке все похоже, и чадры и паранджи, и бешбармак и бэлиши, и намаз, когда они в урочный час молельный коврик где угодно, хоть под дождем, хоть в сугробе, раскладывают, у них везде один и тот же; а Восток – это полмира, и правду они пророчат, что скоро Востоком станет весь мир. Мы и ахнуть не успеем, станет!

Кончай жевать. Он грубо схватил меня за руку, тряхнул. Из моих пальцев выпала виноградная кисть, виноград раскатился по цветному навощенному паркету. Я чуть не подавилась ягодой. Серкан за руку потащил меня вверх: вставай! Я встала. Он жестом попросил тишины. Гости прекратили болтать и вздымать бокалы. Турок указал пальцем на меня, как на выбранную в магазине вещь. Вот она! Все насторожились. Она, да! Я выбрал ее. Уважаемые, достопочтенные друзья мои, Серкан Кайдар наконец выбрал себе жену! Первую жену, смею заметить! Верю, будут и другие. Но Раиса-джаным навеки останется самой любимой и почитаемой женой! Одобряете ли вы мой выбор? Поздравляете ли вы нас? Радуетесь ли вы нашему нишану?

Нишан, что за чертовщина такая, нишан, что он болтает. Бокалы вновь поднялись над головами. Все стали кричать: нишан, нишан! Поздравляем жениха и невесту с нишаном! Серкан-эфенди и Раиса-джаным, скорой вам свадьбы и долгих лет жизни, и множество прекрасных детей! К нам подковылял старичок с жиденькой белой бородкой. В руке божий одуванчик держал раскрытую коробочку. В ней лежали два золотых кольца, связанные алой лентой. Старичок проскрипел: даете ли вы клятвы друг другу в вечной верности? Я глядела оторопело. Так внезапно все это обрушилось, турок хоть бы что-нибудь загодя сказал мне, хоть бы в любви объяснился. Что надо говорить? Как клясться? Я не знала. Серкан произнес клятву, больно сжал мне пальцы и властно шепнул: повтори. Я повторила, слово в слово. Старичок дрожащими руками вытащил из коробки кольца, развязал зубами тугой узел, кольца скользнули ему в морщинистую ладонь. Протяни руку! Я протянула. Протянул руку и Серкан. Старик стал надевать кольцо на палец турка. Кольцо болталось на безымянном пальце слишком свободно. Потом, беззубо улыбаясь, старик схватил мою руку. Мне кольцо на палец не налезало. Старик поднажал, я ойкнула от боли, кольцо налезло, и я с ужасом думала: а как же я его сниму? Палец отрежут!

Мы стояли во главе стола, окольцованные, и я в ужасе твердила себе: это все ерунда, это только помолвка, это театр такой, оперный это театр, все понарошку, все это еще можно разрушить, разбить как бокал, пусть вино на паркете, пусть кровь, а какая разница, и вдруг кто-то крикнул издали, с другого конца стола: Серкан-бей-эфенди, а она у тебя мусульманка? Мы слыхали, что она русская девушка! Турок нашелся: что, в России разве нет мусульман? Все захохотали и опять приподняли бокалы. Да разве сам я правоверный мусульманин, пьяно смеялся Серкан, вот ведь на нишане нельзя пить спиртное, а мы пьем! И будем пить! Хорошее, сладкое вино разве запретишь мужчине? А моя невеста не пьет! Она – чиста! Чиста, как фаришта на небесах! Что ты несешь? Что слышала! Попробуй только вякни! Он еще сильнее сжал мою руку, по щекам моим потекли слезы. Опять боль, и опять надо терпеть. А если я не захочу терпеть?

Гости пили за наш нишан, за то, что меня приняли в труппу Стамбульской оперы, за наших будущих детей и внуков, за наших родителей, вернее, за родителей Серкана: турок объявил всем, что я русская сирота, и что он делает на земле дело, угодное Аллаху, – берет в жены круглую сироту. Слава Серкану, слава бей-эфенди Кайдару! Много лет жизни тебе и всей твоей семье! Всем подносили сладкий кофе, а мне на маленьком подносе принесли дымящуюся чашку и шепнули: этот кофе соленый, поднеси его жениху, он должен выпить эту соль и горечь, потом зато в вашей семейной жизни не будет ни горечи, ни слезной соли. Я с поклоном подала кофе Серкану, он взял чашу и влил себе в рот и даже не поморщился. То ли от выпитого вина, то ли от радости праздника мне становилось все спокойнее, все легче. Сейчас вырастут крылья, и улечу. А лучше бы у меня за спиной выросли вертолетные лопасти. Надо улететь далеко, чтобы этот турецкий жених со стариковскими залысинами и дамскими холеными ногтями никогда на широкой земле не нашел меня.

Ночью, пьяная, я встала с кровати и пошла в комнату, где жил мой белый рояль. В коридорах слуги выключили все огни. Я двигалась на ощупь. Я нашарила дверную ручку, повернула, вошла в зал, подобралась к роялю. Я так горела, а мой рояль был весь прохладный, как ледяная лодка, гладкий, мятный, снежный. Я откинула крышку и взяла минорный аккорд. На весь дом я запела мою песню. Дикую, адскую. Настоящий тяжелый рок. Ничто другое. Никаких арий. К бесу арии! Сжечь на костре оперные клавиры! Выгнать взашей этих учителей музыки! Насыпать им мешки денег и вытурить! Я уже сама музыка. Я прекрасно знаю, что к чему. Какие ноты прилепляются к душе, а какие улетают вон, на ветру завиваются в кошачий клубок никчемного мусора.

На пороге вырос турок. Он терпеливо слушал, как я бешусь за роялем. Потом подошел ко мне, повернул за плечо меня к себе и залепил мне увесистую оплеуху. Ты! Что ты орешь?! Люди спят! Хочу и ору! Побойся Аллаха! Я не боюсь вашего Аллаха. Побойся вашего Христа тогда! Я не верю в Христа. Он ударил меня еще раз. Голова моя мотнулась. Во что-то же ты веришь?! Ни во что. И в меня?! И в тебя не верю. И в наш нишан? В наш нишан тем более не верю. Все это театр. Спектакль. Ты поставил его для своих друзей, чтобы все успокоились: у тебя есть жена. Еще удар. Еще мотнулась и загудела голова. Не бей меня по голове! Буду бить тебя куда хочу. Ты этого заслуживаешь. Я не буду тебе подчиняться! Я не буду петь в твоей жуткой опере! Так и передай им! А где ты будешь петь? Что ты будешь петь? Эти твои страшные песни?! Тяжелый рок?! Их же поют грязные парни в подземных переходах! В грязных залах придорожных кафе! Это путь, ведущий в грязь и нищету! Это путь против Аллаха! Ты хочешь пойти против Аллаха?! Да что мне твой Аллах! И вообще все боги! В небе облака летят, и они из капелек воды! А не из ангельского пуха! И я не ангел! Я не фаришта никакая! И не сирота! У меня есть отец и мать! Зачем ты все врешь перед своим Богом, если ты в него так веришь?!

А ты вся чистенькая! И не врешь никогда! Ну, похвали, похвали мне твоего Бога! До небес превознеси твою поганую Россию! Россия твоя поганая, наглая, она всегда занималась тем, что завоевывала, подчиняла себе земли и народы, гнула их к земле, била и насиловала, так что же, я сейчас не имею права на тебе, русской грязной подстилке, твоей России отомстить?! Еще как имею! Еще какое право! Ну, бей! Да хоть убей, Кочубей! Дрянь ты, турецкая гнилая фига! В европейца играешь! Чечню деньжищами снабжаешь! Да только псу под хвост все твои доллары! Мы все равно вас, бандитов, одолеем! Всех наших ребят все равно не сгубите! Нас больше! Всех не перестреляете!

Ах, вот ты как?! Так я же выбью из тебя эту дурь!

И он стал выбивать из меня дурь.

...я очнулась на паркетном полу в зале. Разлепила глаза и увидела белые толстые ноги рояля. Снизу рояль был не такой красивый, как сверху,   
вернее, даже совсем некрасивый. Уродливый. Ноги жирные, бочонки. Золотые медали педали прицеплены к двум белым палкам. Под брюхом решетка. На решетке стальные заклепки. Рояль, изнутри ты как рок-музыкант, весь в заклепках и колючках. Золотые, медные струны! Золотые доски и ветки! Когда-то ты был деревом, тебя срубили, распилили и источили, истончив до желтой паутины, превратили в звучащий гроб. Гроб с музыкой! Да, это ты. Почему я сегодня не умерла?

Ко мне подошли две служанки в чадрах, молча перенесли меня на кровать. Я не знала этой комнаты. Голые стены, нет окон. Камера. Склеп. На стенах тусклые светильники. Я в пещере? Заживо похоронена? От Серкана всего можно было ожидать. Женщина в черной чадре принесла мне попить. Я ощутила во рту вкус компота. Компот из инжира, как трогательно. Ловкие руки меня раздели, выкинули кровавые лохмотья. Серкан, когда бил меня, изорвал на мне всю одежду. Женщина окунала губку в таз и молча обтирала ею меня. Помыла, высушила полотенцем. Намазала ушибы и царапины пахучей мазью. Боль утихла. Я уснула.

...проснулась в нашей с турком постели. Я увидела над своим лицом его лицо. С его лица на мое лицо капало горячее, соленое. Я никогда тебе не говорил, что я люблю тебя, джаным. Так вот: я люблю тебя. Прости меня. Я люблю тебя. Прости меня. Я люблю...

Он повторял это бесконечно, как говорящий попугай. Он мог бы повторить это сто, миллион раз. Мне было все равно. Я разлепила распухшие губы и сказала: я все равно буду петь, что я хочу. И жить, как я хочу.

А он все повторял, будто бы я была глухая, или тупой несмышленый ребенок, или взрослая дура: я люблю тебя, прости меня, я люблю тебя, прости. Я повернула на подушке голову и закрыла глаза. Я не хотела смотреть на него. Мне на губу капнула его слеза, я ее плюнула. Попала ему в лицо. Он вытер лицо и снова заладил: прости, прости.

Ближе к утру мы переспали. Я его пожалела? Нет.

У меня просто не было другого выхода.

В то серое стамбульское утро я забеременела.

Турок больше не выбивал из меня дурь. Я больше не пела свои песни.

Но и в Стамбульской опере я тоже не пела.

Я рожала ему детей.

Одного за другим.

Четырех девочек и одного мальчика. Младшего.

Девочки появлялись на свет будто сами собой. Мальчика я рожала трудно, врачи думали, я умру. Ничего, выжила. Мне сделали, в конце концов, когда парень уже внутри меня обмотался пуповиной и стал задыхаться, кесарево сечение; дураки стамбульские врачи, надо было мне полоснуть ножом брюхо с самого начала, тогда бы никто не мучился, ни я, ни ребенок. Младенца оживляли, разматывали пуповину, били его по щекам, подключали аппарат искусственного дыхания. Он задышал и закричал. Я перевела дух и заплакала. У меня губы были все искусаны, и я шутила: Серкан, ты меня долго еще не сможешь целовать.

Я постепенно привыкала к нему. А он, только дети подросли чуть-чуть, опять принялся меня бить. Он разрешил мне появляться в городе, правда, с охраной. Я ходила по улицам Стамбула без чадры, застывала перед роскошью витрин, свистела, сложив пальцы кольцом, вспугивая голубей, грызла и сосала свой пирсинг в нижней губе, раздумывая, убежать или нет, пока охранник сидит на каменной скамье и треплет за нос черного толстого кота. А если я побегу, он что, будет стрелять мне вслед? Я знала, у них у всех, слуг Серкана, торчали в карманах стволы. Тайком от турка я побывала у гинеколога, и мне вставили в матку золотую спираль. Я не хотела больше рожать. Ни от него, ни от кого бы то ни было.

Я шла домой, Стамбул гудел, сиял и пел вокруг меня, Стамбул пах бензином, сушеными фигами и крепким сладким кофе, а может, соленым. Да, здесь и так, с солью, варили кофе: крутили джезву в горячем песке, потом, когда кофе вздувался черной пеной, бросали в джезву щепотку соли и щепотку молотого черного перца. С такого кофейка и мертвый проснется! Я шла домой, и важно было понять: будут меня сегодня бить или не будут. На пороге меня встречали мои девочки и мой мальчик. Я спрашивала их: папа сегодня добрый? Добрый, добрый, еще какой добрый! Он сегодня подарил всем нам по говорящей кукле, а Актаю – заводную машинку!

Имена моим детям давал их отец. Я и рта не смела раскрыть. Мастью все дети были настоящие турки: черненькие, кудрявые, ну да я ведь тоже была черненькая и кудрявая. Нет вопросов! Дети все в мать. Лале, Гюнеш, Айсун, Гизем. И Актай. Тюльпан, Солнце, Луна, Тайна. И Белый Жеребенок. Они рождались каждый год. Не успевала я выкормить одного младенца, как беременела другим. Серкан! Неужели я всего лишь машина для производства детей? Для продолжения твоего рода?! Заткнись, глупая девчонка! Еще одно слово, ну, скажи, скажи его! И что? Опять будешь бить? Да! Женщина любит плеть! Она любит кулак! Что русская, что турецкая! Мужчина сильный, женщина служит ему! И слушается его во всем! Запомни это, черная коза!

Он бил меня. А потом наступала ночь, и он целовал меня.

Может быть, ему нужно было встряхивать себя жестокостью, чтобы потом спать со мной.

И я спрашивала себя: Райка, долго ты еще выдержишь такую жизнь?

В Стамбуле ведь есть русское посольство!

Ха, посольство. Я понимала: под неусыпным надзором мне туда хода нет.

Но я себя знала. Я знала: я все равно сделаю, что хочу.

Я изготовила себе заграничный паспорт и вписала туда всех детей.

В паспорте было написано: я – гражданка России.

Мы с моим турком так до сих пор и не сыграли свадьбу.

Ему его друзья намекнули: она же не мусульманка, сначала сделай ее настоящей мусульманкой, а потом уже женись!

Он сказал мне: я поведу тебя в мечеть. Я поняла: если буду брыкаться, меня опять ждут побои. Да, конечно, ты поведешь меня в мечеть. Я выучу все суры Корана, какие там у вас говорят, когда принимают ислам. Да, ты все выучишь! Если понадобится, ты выучишь наизусть весь Коран, Аллаху акбар!

Даже не спрашивайте меня, как мне удалось сварганить себе русский заграничный паспорт. Деньги делают все что угодно. Деньги творят чудеса. Я выцыганила у турка денег якобы на очень богатое платье. На свадебное платье. Оно так дорого стоит, Серкан! Где, в каком ателье ты собираешься его заказать? Я знаю все ателье Стамбула! Мне пришлось съездить в ателье и сделать заказ. Я оставила мастерице задаток. Скромный. Почти вся баснословная сумма осталась у меня на руках. Платье шьют в «Тюккар Терзи», Серкан! Оно будет похоже на айсберг! Такое белое, большое!

Я дала много денег молчаливой служанке в чадре, что обмывала меня после побоев. Сказала: хочешь жить? Она кивнула. Хочешь много денег? Она кивнула. Будешь молчать? Она кивнула. В моей жизни много чего повторялось. Побег должен был повториться. Но здесь, в Стамбуле, я воистину ходила по лезвию ножа. Купи мне билет на самолет до Москвы! Мне и детям! Как, на всех детей билеты? Да! На всех. Детские! Они льготные. Дешевле, чем взрослый билет. На какое число, госпожа? Я судорожно думала. Чем скорей, тем лучше, как поют в одной опере, знаешь? В какой еще опере?

Я прожигала служанку глазами.

Но ведь хозяин меня убьет, Раиса-ханым! Он обо всем дознается!

Не убьет. Я тебе обещаю.

Побожитесь!

Аллахом клянусь! Но я же еще не мусульманка!

Служанка хлюпала носом и целовала мне руку, пачкая ее слезами и слюной.

Теперь вся задача была – обмануть охранников. Я позвонила в службу такси и наняла машину на пять вечера. Куда вы, госпожа? Скоро время обеда! Дети должны дышать свежим воздухом. Они сегодня безвылазно сидели дома. Дома можно задохнуться. Я еду с ними погулять в парк Гюльхане! О, в Гюльхане? Мы с вами! Да пожалуйста! Да на здоровье!

Они не знали, что я уже велела таксисту: заедем на пять минут в парк, потом сразу мчимся в аэропорт. Быстро мчимся, я ужасно боюсь опоздать на рейс! Куда у госпожи рейс? В другую страну!

Нет, я пошутила. Мы с детьми летим в Анталью! Искупаться в море, погреться на песочке!

Еще чего, так и скажи им, куда ты летишь. А может, у Серкана сидят осведомители даже в агентствах по вызову такси. Он так мною дорожит? Зачем же он так бьет меня, что потом черные синяки рассасываются только под мазями и бальзамами?

Я погрузила детей в машину. Я тепло их одела, и они капризничали: жарко, мама, нам жарко! Ничего, отвечала я бодро, мы летим в такую сказку, где лютый холод и в метели ходит-бродит седая старуха Баба-яга, костяная нога, и Дед Мороз сидит под нарядной елкой, у нас тепло, а там холодно, и там идет снег! Снег? Снег?! Ура! Настоящий снег! Мы увидим снег, правда, мамочка?! Правда?!

Да, дети, вы увидите снег! А сейчас сидите тихо и молчите!

Они все прижались друг к дружке на заднем сиденье, все пятеро. Айсун смотрела так задумчиво. Я до сих пор помню эти ее глаза. Большие, как черное ночное небо. И в них, в черной глубине, горят две звезды. Милая моя Луна. Луненька моя, Айсуночка. Я со всеми ними говорила то по-турецки, то по-русски, они росли у меня двуязычные, детки мои. Актай, ты зачем развязал шарф? Жарко же, сил нет! Завяжи! Не хочу! Ну тогда сверни и сунь в карман! Там, в волшебной стране снегов, он тебе ой как понадобится!

Шофер косился на меня, дивился моей русской болтовне. Чтобы его успокоить, я заговорила с детьми по-турецки. Я оглянулась. За нами, ловко объезжая медленно едущие автомобили, быстро ехал черный лаковый «шевроле». Ты давай быстрее, пробормотала я шоферу, нажми на газ, за нами погоня! Что?! Погоня?! Мы так не договаривались! Это не было оплачено в заказе! Я вытащила из-за пазухи кошелек, открыла его и швырнула ему на колени пачку бумажек по двести лир с портретом поэта Юнуса Эмре. Вот тебе оплата! Гони, только гони!

Шофер наддал, машина завизжала и понеслась вперед как бешеная. Мы вылетали на встречку, обгоняли машины и по правилам, и без правил, гудели, квакали, крякали, нас швыряло из стороны в сторону, дети орали, шофер поминал шайтана, я и смеялась и плакала. Когда мы оторвались от погони, я не поняла. И шофер не понял. А впереди уже маячил грозным призраком аэропорт Ататюрк, и я понимала: сейчас, вот сейчас, совсем скоро, через каких-то полчаса, я и мои дети, мы будем в самолете, а потом он взлетит и полетит, среди облаков, как стальная фаришта, железный ангел, и мы все будем на свободе, и меня уже больше никто не будет бить. Никогда.

И я буду петь то, что я хочу! Что хочу!

Мы выскочили из такси, и я помахала отважному шоферу рукой. Детки мои тоже помахали ему и вежливо пролепетали: спасибо, дядя водитель! Я подхватила Аксая на руки. Мы побежали в здание аэропорта – уже шла регистрация на рейс. Дети, скорей, скорей! Шевелите ножками! Они так быстро и старательно бежали, мои милые. Лале остановилась, на секунду замерла. Она глядела назад. Что ты там смотришь, Тюльпанчик мой? Мама, мне показалось, там папа! Вон за тем столбом!

По моей спине потек ледяной пот. Я дернула Лале за руку. Нет там никакого папы! Бежим! А то опоздаем к Деду Морозу!

Я бежала с Лале впереди, к груди прижимала Аксая, Айсун, Гизем и Гюнеш бежали сзади, и тут вдруг стены покачнулись и начали падать, вокруг заклубился туман, я сначала оглохла, потом перестала видеть, а потом меня накрыла тьма – так накрывают плотной крышкой горячую кастрюлю с телячьим искендер-кебабом.

Я открыла глаза. Вокруг меня стеной вставали крики.

Визг рвал уши.

Вокруг меня бесилась смерть, я это понимала.

Я лежала на каменных плитах. На полу зала ожидания. Мимо меня бежали люди. Истошный женский голос кричал по-английски. Я поняла только: чилдрен, чилдрен, – дети, дети. Чьи-то руки быстро ощупали меня. Мужчина крикнул по-турецки: о хала хайялтта! Она еще жива! Я повернула голову. Меня уже поднимали и укладывали на носилки. Bu çocuklar sizin mi? Это ваши дети? Где дети? Какие дети? Не давайте ей смотреть, кричали рядом, не давайте, не давайте! Это мать, с детьми, они бежали все вместе, они опаздывали на рейс! Это ее дети! Отвернитесь, не глядите! Набросьте ей на голову простыню! Аллах великий и всемогущий! Помоги ей!

Они лежали все в крови, но как будто отдыхали. Гюнеш лежала на Гизем и обнимала ее ручкой за шею. Будто прощалась. Лале смотрела вверх, в потолок. Ее глаза остановились. Ее грудь и живот были странные, слишком красные и вздутые, будто она взорвалась изнутри. Поодаль валялось маленькое безголовое тельце. Я быстро поняла: это Айсун. Айсун, моя Луненька-Луна. Аксай подвернул под себя ножку, как в танце. Ему еще не исполнилось двух лет. Он должен был лететь на самолете бесплатно.

Отверните! Отверните ей лицо! Она смотрит! У нее сейчас будет шок! Она может умереть от шока!

На меня набросили белую льняную тряпку. Стало трудно дышать. Я хватала воздух ртом. Носилки взъехали в воздух, и я полетела, это был мой земной самолет. Потом носилки приземлились. Голые стены, стол, ампулы, шприцы. Где ваши родные? Где вы живете? Меня спрашивали по-английски, я пожимала плечами. Отвечала по-турецки: дети, где мои дети? Отдайте мне моих детей! Меня поили из маленькой мензурки пахучими каплями. Сделали укол в вену. Вы живете в Стамбуле, госпожа? Мы отвезем вас домой! Нет! Не в Стамбуле! Где моя сумочка? Мне протянули мою сумочку. Бен рус, сказала я по-турецки, я русская, и я полечу домой. Домой, на ближайшем рейсе. Как только будет рейс в Москву. Домой, слышите? Домой! Домой!

Я кричала, наверное, слишком громко, и мне сделали еще один укол. Я задремала. Очнулась оттого, что меня по щеке гладила чья-то холодная рука. Мне показалось, это рука моего турка, и я вскинулась и опять заорала. Незнакомый человек испуганно отнял ладонь от моей щеки. Госпожа, рейс на Москву. На Москву рейс, номер двести пятьдесят. Прямой, без посадок, Стамбул – Москва. Разве вы не останетесь в Стамбуле, чтобы похоронить своих детей?

Я была как пьяная. Будто я выпила зараз пару бутылок водки. Мои дети живы! Живы! Да, да, живы, живы, не кричите. Конечно, живы, они теперь рахметли, они же теперь в Раю, у Аллаха всемогущего. У Аллаха, елки зеленые! У Аллаха, в бога-душу-мать-перемать! Аллах, Христос, Будда, да вы все, боги всемогущие, простите меня, что я не похоронила моих любимых детишек. И не знаю я, где их похоронили; и кто похоронил; и где они лежат, и где их дорогие могилки. Может, они все лежат в одной могиле, сестры и братик. Аллах рахмет эйлесин! Да будет милостив Аллах к ним!

Вы можете осуждать меня. Вы можете меня проклясть и презирать. Но я тогда и правда сделалась безумной. Люди, что помогали мне сесть в самолет, все спрашивали меня обеспокоенно: bayan, sizi moskova'da herkes buluşacak? Госпожа, вас в Москве кто-нибудь встретит? Вы в шоке, надо, чтобы за вами в полете кто-то следил! Мы скажем стюардессе! Мы сообщим пилоту! Вы перенесли тяжелую травму! А может, вы все-таки задержитесь в Стамбуле? Хотя бы на два, три дня!

Я шептала пересохшими губами: в самолет, в самолет. Усевшись в кресло, я подозвала стюардессу и жестом показала ей: пить. Она уже все знала обо мне. Принесла плед, закутала мне ноги. Прикатила на тележке напитки: сок, минеральную воду, чай, кофе. Что будете пить, госпожа? Я увидела торчащее горлышко бутылки. Это спиртное? Да, коньяк, госпожа. Будете коньяк? Я едва смогла кивнуть. Стюардесса ловко налила мне половину большого бокала. Я взяла бокал в дрожащую руку. Погрейте коньяк в ладони, госпожа, только тогда пейте. Он должен приобрести температуру человеческого тела. Ослепительная, многозубая улыбка.

Тележка укатилась.

Я долго сидела с бокалом коньяка в руке. Полчаса? Час? Самолет летел, легкий гул ровно стоял в прозрачном, прохладном воздухе, люди шуршали газетами и журналами, улыбались друг другу, кто-то тихо плакал вдали. А может, вблизи. А может, это плакала я сама. Скулила, как щенок. Я поднесла бокал ко рту, отпила коньяк и чуть не откусила тонкое стекло. Тихо, сумасшедше засмеялась. Слезы мои капали в бокал. Я пила вперемешку с коньяком свои слезы, пила и не пьянела. Хотя очень хотела опьянеть. У меня не получалось.

За окном росли, вздувались могучие, пухлые облака. Горы овечьей белой шерсти. Я летела и думала: хоть бы самолет этот грохнулся, что ли. Хоть бы он упал над морем, и падал бы медленно и страшно, и утонул бы, и мы бы все задохнулись в салоне на глубине, где ходят большие страшные рыбы, и я задохнулась бы вместе со всеми. Со всеми не страшно. Айсун, ты теперь стала настоящей Луной! Ты каждую ночь будешь всходить надо мной. И светить мне. Айсун, прости меня, если я злилась на тебя! Но я никогда не била тебя, Айсун! Я же никогда не била вас, дети мои!

Самолет летел ровно и бесстрастно, все моторы, все двигатели работали прекрасно, все винты, гайки и заклепки крепко сидели на своих местах, и тут я вдруг догадалась: а может, здесь, в салоне, где-то тоже, как в зале аэропорта, спрятался человек с бомбой, и он только ждет удобного момента, он смертник, ему не страшно умирать, более того, ему важно достойно умереть, ведь он сейчас уничтожит неверных во имя веры, во имя великой своей, единственной веры, – и я жалобно, как овечка, бессмысленно попросила его: ну давай, дружок, сделай так, чтобы твоя бомба взорвалась сейчас, давай, нажми на кнопку, сдвинь проволоку, дерни за шнурок, давай, не жди, взорви, и пусть наступит смерть, смерть это самое большое счастье, счастье – не жить, счастье – не видеть и не слышать, а если после смерти что-то такое в мире есть, то, что заставляет нас видеть и слышать, что же, значит, будем жить, только другой жизнью, нам неведомой. Давай! Не трусь!

Знаете, если бы у меня самой в тот момент в руках оказалась бомба – я бы ее взорвала.

И даже не задумалась.

Весь самолет, со всеми людьми.

А теперь можете меня обвинять в чем угодно. В жестокости. В бесчеловечности. И во всем таком. В жизни есть мгновения, когда ты жалеешь о том, что тебя родили на свет.